

# ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.



12+



Диана Комяти  
и ее сын Бенедикт  
Читайте на стр. 72

## Наше всё

### Фазиль ИСКАНДЕР

«Чувство юмора — это то понимание жизни, которое появляется у человека, подошедшего к краю бездонной пропасти, осторожно заглянувшего туда и тихонечко идущего обратно», — написал некогда Фазиль Искандер в рассказе «Начало».

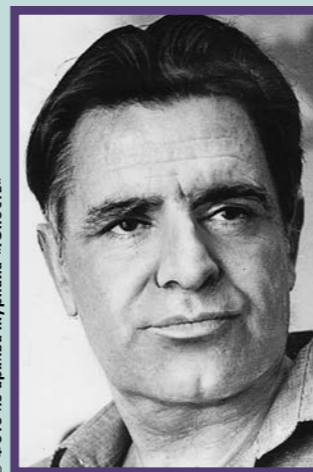
Начало его таланта — в Сухуми. Там, где Келасурская стена венчается с первозданной чистотой неба, а древние камни Беслетского моста напоминают сложенные пригоршней ладони Всевышнего, оберегающего этот благословенный край.

За Фазиля Искандера говорят его книги: «Горные тропы», «Созвездие Козлотура», «Сандро из Чегема» и многие другие.

Фазиль из Чегема спасается от бездны необъятной любовью к родной земле, к человеку, к женщине: «Есть что-то разбойное в ее прозрачных глазах... Каждый раз, когда она первой замечала кустики земляники, она так нежно становилась на колени, словно хотела погладить маленькое животное или схватить ребенка, только что сделавшего свои первые шаги...»

Фазиль Абдулович начинал именно в «Юности» в 1963 году с публикации стихотворений. «Мода», «Звездная сестра», «Баллада о зависти», «Баллада об украденном козле»... Все шестидесятые наш журнал открывал поэта Искандера. А в итоге открыл... великолепного прозаика: в 1971 году на страницах октябрьской книжки «Юности» появилась повесть «День Чика», которая и определила приход в литературу большого писателя. Вот первые строки из этой повести: «Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками поднимающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку Белку...» И сразу же хочется читать и читать дальше, потому что автор не столько рассказывает о персонажах, сколько показывает их, создавая особое литературное пространство.

Фазиль Абдулович Искандер — классик, при этом классик великой советской литературы. Состоялся он как раз в то время, когда народы жили мирно, а писательское слово вызывало уважение в своем бескорыстном служении искусству. И, что особенно приятно, Фазиль Искандер — постоянный автор «Юности»!



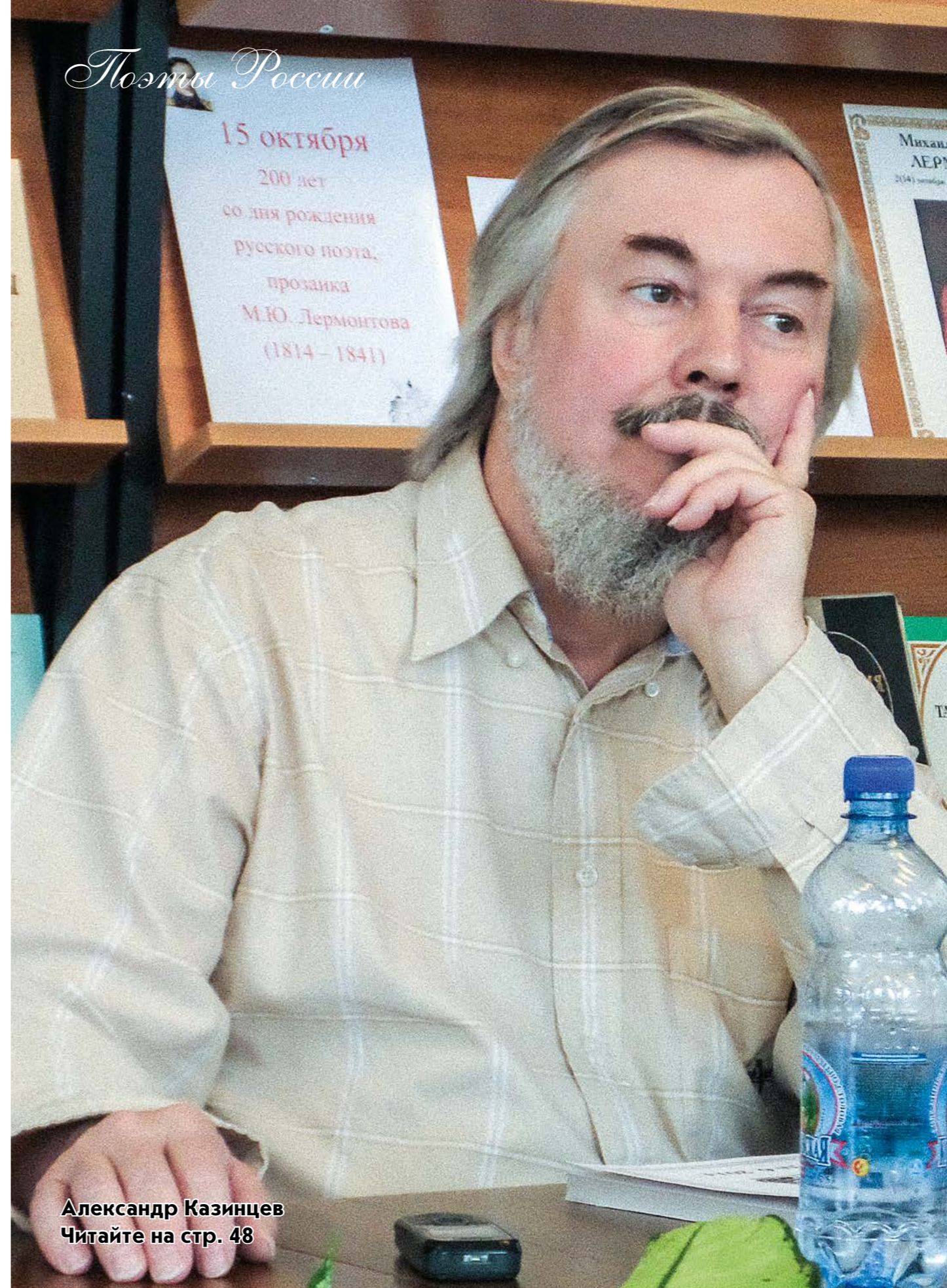
© Фото из архива журнала «Юность»

- Лауреаты премии журнала «Юность» по итогам 2014 года
- Елена БОРОК: «Трахались молча, безрадостно, тихо, как мышки...»
- Николай ГУБЕНКО: «Советский Союз был самым справедливым проектом в мире!»
- Лев АННИНСКИЙ, Станислав КУНЯЕВ и очарование стихов Анатолия ПЕРЕДРЕЕВА
- Студийцы Мастерской Андрея ЦУКИНА будут всегда
- Сокровенные мысли прозаика Бориса ЕВСЕЕВА
- 728 действующих лиц в пьесах ОСТРОВСКОГО
- Провинциалии Платона БЕСЕДИНА
- Александр КАЗИНЦЕВ: «Глаза мои слепит огонь отвесный...»
- Что станет с рыбой? Прогноз... филолога
- Станислав АСЕЕВ — двадцатипятилетний писатель из Макеевки. Проза Малороссии в поисках метафизики Майдана
- Венгерский филолог советского происхождения Диана КОМЯТИ имеет особый взгляд на произведения Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
- Эстонская писательница Хелью РЕБАНЕ доказывает, что от свободного воспитания детей европейцы уже отказались
- Американский прозаик Лоуэлл Ховард МОРРОУ (1870—1951). Такой фантастики в России еще не читали
- Томский постмодернизм Олега ЛАПШИНА
- Александр МЕНЬ. Жизнь без прикрас
- В детективе — оперативная игра
- В зеленом портфеле билет на новогодний трамвай
- Галка ГАЛКИНА: «Расправьте крылья, ГУСЕВ О. Е.!»
- Проказник ГЕО: «Хороводь!»





**Елена Борок**  
Читайте на стр. 6



**Александр Казинцев**  
Читайте на стр. 48

# ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал  
Выходит с июня 1955 г.

№ 1 (708) 2015

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: [unost-contact@mail.ru](mailto:unost-contact@mail.ru)

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

*Главный редактор*

**Валерий ДУДАРЕВ**

*Редакционный совет:*

**Ильдар АБУЗЯРОВ**

**Анатолий АЛЕКСИН**

**Лев АННИНСКИЙ**

**Зоя БОГУСЛАВСКАЯ**

**Анна ГЕДЫМИН**

**Тамара ЖИРМУНСКАЯ**

**Елена ИСАЕВА**

**Кирилл КОВАЛЬДЖИ**

**Валерий КОЗЛОВ**

**Владимир КОСТРОВ**

**Нина КРАСНОВА**

**Татьяна КУЗОВЛЕВА**

**Евгений ЛЕСИН**

**Георгий ПРЯХИН**

**Владимир РАДЧЕНКО**

**Ольга РЫЧКОВА**

**Елена САЗАНОВИЧ**

**Александр СОКОЛОВ**

**Борис ТАРАСОВ**

**Елена ТАХО-ГОДИ**

**Олег ТОЛКАЧЕВ**

**Игорь ШАЙТАНОВ**

**Андрей ШАЦКОВ**

*Редакционная коллегия:*

заведующая отделом  
образования и молодежной  
политики

**Славяна БАКУНИНА**

обозреватель

**Платон БЕСЕДИН**

главный художник

**Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ**

заведующая отделом критики

**Елена МАКСИМОВА**

заведующий отделом культуры

**Александр МАХОВ**

заместитель главного редактора,

заведующий отделами

прозы и поэзии

**Игорь МИХАЙЛОВ**

заведующий отделом

зарубежной литературы

**Евгений НИКИТИН**

главный консультант

**Эмилия ПРОСКУРНИНА**

консультант главного редактора

**Евгений САФРОНОВ**

ответственный секретарь

**Светлана ШИПИЦИНА**

## В НОМЕРЕ:

<i>Премии журнала «Юность» по итогам 2014 года.....</i>	<b>4</b>
<i>Поэзия</i>	
Елена БОРОК.....	<b>6</b>
Александр КАЗИНЦЕВ.....	<b>48</b>
<i>Проза</i>	
Борис ЕВСЕЕВ	
<b>ОФИРСКИЙ СКВОРЕЦ</b> ПОВЕСТЬ.....	<b>17</b>
Платон БЕСЕДИН	
<b>ДВА РАССКАЗА</b> .....	<b>36</b>
Станислав АСЕЕВ	
<b>МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ</b> РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ.....	<b>57</b>
Хелью РЕБАНЕ	
<b>ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ</b> ПОВЕСТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.....	<b>82</b>
Олег ЛАПШИН	
<b>ВЫСТАВКА</b> РАССКАЗ.....	<b>92</b>
<i>МР Увоженный разговор</i>	
<b>НИКОЛАЙ ГУБЕНКО: «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БЫЛ САМЫМ СПРАВЕДЛИВЫМ ПРОЕКТОМ В МИРЕ!»</b>	
Беседу вела Екатерина Корнеева.....	<b>12</b>
<i>Страницы Льва Аннинского</i>	
заметки неисторика	
<b>ПРОЩАНИЕ С ПЕРЕДРЕЕВЫМ</b> ПРОДОЛЖЕНИЕ.....	<b>15</b>
заметки нетеатрала	
<b>А ВЕДЬ МЫ ЕСТЬ?!</b> .....	<b>16</b>
<i>100 книг, которые потрясли мир</i>	
Елена САЗАНОВИЧ	
<b>АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ. «ГРОЗА»</b> .....	<b>33</b>
<i>Как беден наш язык!</i>	
пожалуйста, говорите по-русски!	
Марианна ТАРАСЕНКО	
<b>БЕЛАЯ? — НЕТ, КРАСНАЯ. — А ПОЧЕМУ ЧЕРНАЯ?</b> .....	<b>55</b>

Заведующая редакцией  
**Лидия ЗЯБКИНА**

Заведующий отделом информации  
**Игорь РУТКОВСКИЙ**

Специальный корреспондент  
**Екатерина КОРНЕЕНКОВА**

Специальный корреспондент  
по Белгородской области  
**Нила ЛЫЧАК**

Редактор-корректор  
**Юлия СЫСОЕВА**

Верстка и оформление  
**Наталья ГОРЯЧЕНКОВА**

Фотокорреспондент  
**Антон ШИПИЦИН**

Главный бухгалтер  
**Алла МАТЮХИНА**

Финансовая группа  
**Лариса МЕЛЬНИКОВА**

Заведующая отделом рукописей  
**Ирина УШАКОВА**

Интернет-версия  
**Максим ПОПОВ**

Заведующая отделом распространения  
**Яна КУХЛИЕВА**

Дежурные по редакции  
**Людмила ЛОГАЧЕВА**

**Татьяна СЕМЕНОВА**  
**Татьяна ЧЕРЫГОВА**

Координатор литературного  
объединения

**Марина КУЛАКОВА**

Администратор  
**Зинаида ПОТАПОВА**

## Разнообразие слога

Диана КОМЯТИ

### МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ПОВЕСТИ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Попытка исследования..... **72**

## Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Лоуэлл Ховард МОРРОУ

**ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК** ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ..... **89**

## Былое и думы

Сергей БЫЧКОВ

### ОТМЫВАНИЕ ЖЕМЧУЖИН

Опыт художественного расследования. Продолжение..... **94**

## Творческий конкурс

Дарья БУРДИНА г. Москва..... **107**

Юлия ВЕРТЕЛА г. Санкт-Петербург..... **111**

Тамара АЛЕКСЕЕВА г. Липецк..... **117**

## В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Валерий ИЛЬИЧЕВ

**СТРАСТИ ПО ИЗУМРУДНОЙ БРОШИ** Окончание..... **128**

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Александр БРЮХАНОВ

**НОВОГОДНИЙ ТРАМВАЙ**..... **133**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

**МЫ ЕЩЕ СПОЕМ!!!**..... **135**

VERIORA VERIS

Проказник ГЕО, человек-орел

**ЕСЛИ САНКЦИИ ВВЕЛИ...**..... **136**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,  
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность  
за достоверность предоставленных  
материалов. Мнения автора  
и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка  
на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр  
«Наука» РАН», ОП ПИК  
«ВИНИТИ»-«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,  
Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 554-21-86

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №

## **Номинация «Проза»**



Премию имени Валентина Катаева получают:

**ОЛЕГ ЛЕБЕДЕВ**

за роман «Старинное зеркало  
в туманном городе»  
в № 1–6



**ДМИТРИЙ РОМАНОВ**

за цикл рассказов «Селолицы» в № 1



## **Номинация «Поэзия»**



Премию имени Анны Ахматовой получают:

**КСЕНИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА**

за подборку стихотворений в № 8



**АНАСТАСИЯ ОРЛОВА**

за подборку стихотворений в № 10  
и за вклад в развитие поэзии для детей



**ЮРИЙ ЮРЧЕНКО**

за подборку стихотворений в № 9  
и за лермонтовское понимание  
поэтического долга





## **Номинация «Публицистика»**

Премию имени Бориса Полевого получает

**СВЕТЛАНА ТЕР-МИНАСОВА**  
за «Записки динозавра» в № 1–6



## **Номинация «Критика, Литературоведение»**

Премию имени Владимира Лакшина получает

**АЛЕКСАНДР МАХОВ**  
за публикацию глав из книги о Микеланджело в № 4  
и за открытие российскому читателю  
малоизвестных страниц  
из жизни гения эпохи Возрождения





**Елена БОРОК**

Елена Борок родилась в Брестской области, живет в Москве. Окончила Московский государственный медико-стоматологический университет, студентка Литературного института имени А. М. Горького. Стихи печатались в журналах «Москва», «Дети Ра», «Студенческий меридиан», «Осиянное слово», в нескольких альманахах. Участвовала в семинарах молодых писателей от Союза писателей Москвы, дипломант международного форума «Осиянное слово», конкурса имени Петрова. Член Союза писателей Москвы. В 2013 году в соавторстве с Дарьей Лебедевой вышла первая книга стихов «Нетленки и ерундашки» (издательство «О.Г.И.»).

## ...ЕСЛИ ПО ДУГЛАСУ АДАМСУ

**Ч**то такое поэзия? Ну разумеется, не умение складывать слова в аккуратные строчки. Я бы сказала, поэзия вообще не имеет отношения к знаниям и умениям; наоборот, за литературным мастерством слишком часто скрывается скучное, рациональное видение мира, в котором ни автора, ни тем более его читателя ничто не способно удивить. А ведь настоящая поэзия без этого невозможна. Конечно, любой отдельно взятый человек не уникален. Мы все живем на одной-единственной планете, вдоль и поперек исползанной учеными, где на каждый чих — исследование, к любому явлению — подтвержденные данные. У нас одна на всех астрономия, биохимия, психология. Но чего все это стоит, когда именно ты впервые влюблен или именно у тебя рождается ребенок. Или когда говорят, что вскорости ты умрешь — именно ты, а не кто-то другой. В такие моменты мы словно совершаем прыжок без страховки: нас больше не прикрывают чужой опыт и накопленные

человечеством знания. Мы остаемся один на один с собой и огромным иррациональным миром; радуемся, или боимся, или отказываемся принимать происходящее — но в любом случае очень остро его чувствуем. Это и есть поэзия. Другой вопрос, что каждый человек рассчитан на строго определенное количество радости и горя, а потому и отклик в нас вызывают события разного масштаба. Я знаю людей, которым по долгу службы вверены десятки жизней. И я знаю женщину, которая двадцать лет не может оправиться от единственной виденной ею смерти. Все относительно. Бесспорно только одно: поэзия рождается тогда, когда внешнее событие или явление — пусть самое ординарное и незначительное — начинает резонировать где-то под кожей и вдруг вскрывает скопившиеся за много лет неразрешенные вопросы. Вопросы жизни, вселенной и всего такого, если по Дугласу Адамсу.

Елена Борок



\* \* \*

Трахались молча, безрадостно, тихо, как мышки,  
в коммуналке, диван между шкафом и гипсокартонной стеной.

Он: внезапно вспомнил,  
два года назад, в Ялте —  
там ведь и познакомились —

так же снимал комнату;  
приехал с другом, друга пришлось выставить;  
так же стучала кровать,  
бесцветный мотылек тыкался в лампочку;  
где-то ругались соседи;

и так же потом пили кофе, курили, не завтракали —  
из соображений экономии и эстетства,  
как всегда по молодости.

Но ведь что-то еще такое грело,  
что и этой общности было достаточно.  
Ведь что-то же было, да?

\* \* \*

Ты кладешь голову на колени  
так, будто хочешь отдать;  
будто это можно взять руками —  
вот так запросто,  
голыми руками за оголенные провода.

Медленно, осторожно  
она перебирает волосы,  
гладит шею, дотрагивается до щеки.

Она думает,  
что хочет жить долго;  
хочет родить детей,  
смотреть на них;  
тихо стареть в пряничном домике.  
Ты в ее планы не входишь.

На месяц-другой — может быть;  
дальше станет скучно — тебе, конечно,  
потом ей —  
ну, или будет понятно, что с тобой делать, —  
она же умница и со всем разберется.

Но ты этого не знаешь  
и успокаиваешься.

\* \* \*

Ну вот ты и дожил.

Твоя первая девушка  
наконец превратилась в женщину.  
Оперилась, заматерела.  
Достроила начатое, позакрывала гештальты —  
все сама,  
без посторонней помощи.

Последняя женщина  
приезжает на выходных,  
на ночь,  
отключает телефон;  
в понедельник  
в семь двадцать  
превращается в тыкву.

Хорошее  
честное время.  
Шаг влево, шаг вправо  
приравниваются к свободе.

\* \* \*

Однажды ты напишешь рассказ,  
нет, повесть;  
лучше историческую.

На фоне разгорающегося пожара войны  
персонажи первого и второго плана  
будут бороться за существование —

сначала цепляясь за обломки старого мира,  
потом яростно,  
обнажая истинную свою сущность  
только перед лицом смерти.

Каждому придется принять сторону,  
черное и белое схлестнутся в решающей схватке.

— — —

Этой повести ты отдашь  
семь месяцев жизни,  
два ведра слез: жены и молоденькой любовницы —  
даже не любовницы, а так, —  
и обещанный детям поход на осенних каникулах.

Повесть ответит литературной премией  
и публикацией в журнале —  
частями, в первых выпусках за следующий год.

Дай бог, чтобы все было так.  
Дай тебе бог вообще времени и удачи  
так ни в чем и не разобраться.  
Умереть от старости —  
плохим мужем, посредственным отцом,  
писателем второго ряда —  
по законам мирного времени  
самое главное  
откладывая на потом.

\* \* \*

Ехать домой. С эскалатора на подъем  
видеть спускающихся, в плеерах и снегу;  
из стеклянных дверей налево, еще наверх —  
выйти в снег.

Ждать трамвая. Чаще прочих ходит шестой —  
желтый и легкий, позвякивает на кругу;  
летний, как платье. Кажется — легче меня,  
легче всех.

Встать у дверей. По узорчатому стеклу  
вывести смайл безрадостному соседу —  
и через мост по негабаритной кривой  
вздрагивая, улыбаясь; думая: еду, еду, —  
думая: не обедал, — думая: только мой! —

в первый раз в жизни, в среду,  
ехать домой.

### Будущее

Будущее наступило  
на детали «Лего», не убранные с ковра,  
задело плечом школьное фото в рамке,  
ударилось о косяк.

Это ведь только в фильмах  
оно входит все в белом, чеканной поступью.  
А у нас — как придется.  
К кому-то нагло вваливается средь бела дня,  
чье-то вообще дверью ошиблось.  
А мое, видишь, — в темноте, тайком;  
на цыпочках, чтобы не разбудить маму.

\* \* \*

Яблоко падает с черной сухой ветки.  
Красное яблоко — оторви и брось,  
в жерло дождя, в водовороты трав.

Травы, гнутые, влажные, тянет к земле,  
стебли перегибаются.  
Яблоко падает, лес говорит в голос —  
но ты не слышишь.

Друг мой, кто так придумал, что я всегда за тобой?  
Кто так придумал: по свежепрмятому, сочному,  
шаг в шаг тебя повторяя,

ставить ступни неслышно —  
ни защитить, ни заслонить телом; да хоть придержать локоть —  
кто так придумал?

Все, что уходит, — в землю уходит; видишь? слышишь ли?  
Все, что уходит, — все идет своим чередом.  
Я — в черную, жирную почву корни даю,  
ты песком рассыпаешься —

самое время.  
Яблоко падает с глухим стуком,  
каштан упал и разбился. Самое время.

Мы же с тобой, как все, мы — жили и умерли,  
жили и умерли; жили и умерли врозь.  
Теперь о чем сожалеть?

### КОРАБЛЬ

Это просто работа. Работа за кров и хлеб.  
Я считаю камни, кладу один к одному.  
Это, вроде, зачем-то нужно, хотя, наверное, — нет.  
Совершенно точно — нет, если по уму.

Я считаю камни. Никто не приходит проверить счет.  
Мне вполне доверяют, большая честь, да и что здесь красть?  
А окончу работу — завтра прилив принесет еще,  
Море не даст пропасть.

В целом, тихое место — копи на старость, расти детей;  
«тише едешь — целее будешь» — сказал отец.  
Только как тут выжить без радостей, без новостей,  
в человеческой пустоте?

И не столько мысли — ветер путается в волосах,  
и работа не спорится. Против воли идет, почти назло.  
Будто спрашивают меня: если ты корабль, где твои паруса?  
Если лодка — то где весло?

Будто спрашивают: а и правда, ты ли не хороша?  
Уж какая работа — в такой глуши пропадаешь зря.  
Да частенько отец глядит — чудно глядит, не дыша,  
ничего мне не говоря...  
Если я корабль — и правда, что ж я не для любви?  
Для большой воды, для свободы, для счастья, для всех ветров?  
Только мой отец все ловит рыбу свою, треплет кудри мои —  
и не знает подобных слов.



ОТ РЕДАКЦИИ

Название нашей новой рубрики «ТРИвозный разговор» говорит само за себя: в нем четко обозначены количество возможных тем для размышления и тревога за среду обитания наших современников.

## **НИКОЛАЙ ГУБЕНКО: «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БЫЛ САМЫМ СПРАВЕДЛИВЫМ ПРОЕКТОМ В МИРЕ!»**

**Ч**то есть современная молодежь, каковы ее идеалы и насколько на эти идеалы влияют современный театр и литература, мы обсудили с главным режиссером театра «Содружество актеров Таганки», народным артистом РСФСР Николаем Николаевичем Губенко. А заодно поинтересовались, какими премьерными порадует своих зрителей театр в новом сезоне.

### **О МОЛОДЕЖИ**

— Николай Николаевич, как Вы можете охарактеризовать современную молодежь, есть ли у нынешних молодых людей какие-либо идеалы?

— Современная молодежь сегодня настолько индивидуализирована, до такой степени не объединена какими-либо идеалами, что это молодое общество, если так можно выразиться, «сотое», очень молекулярно разобщенное, и в этом его беда. Тут многое зависит от родителей и среды, в которой росли та или иная девушка, тот или иной юноша. Кто-то, кто воспитывался родителями, условно говоря, советского периода, впитал в себя традиции памяти, патриотизма, коллективизма. Тот, кто родился в семье англосаксонских идеалов — назовем ее так, — исповедует другие направления. Но, увы, сегодня нет ничего обобщающего, объединяющего молодежь в некое

единое целое, которое может или чему-то вместе противостоять, или за что-то вместе выступить. Как бы много ни говорили о молодежном и на молодежном форуме на Селигере, все равно мы видим разобщенную среду, в то время как старшее поколение было и пока еще остается более объединенным идеалами.

### **ПРО ИДЕАЛЫ**

— А Вы помните, какие идеалы были лично у Вас в юности? И остались ли Вы им верны?

— Вы знаете, я вообще не сторонник понятий «идеалы», «звездность». Это до такой степени интимные и личные вещи, что говорить о них сложно. Но могу сказать, что если не идеалы, то убеждения свои я не изменил. Как они были в начале

моей сознательной жизни, такими они и остаются. Это те убеждения, которые были у моих матери и отца. Отец погиб под Луганском в 1942 году за свои идеалы, страну, он был членом ВКП(б). Мама была кандидатом в члены ВКП(б), и она пострадала от немецко-фашистских оккупантов. И впоследствии, когда в 1945 году нас осталось 19 миллионов осиротевших детей на шее (скажем так грубо) Советского Союза, то государство нашло возможность бесплатно нас образовать, одеть, накормить, дать профессию и выпустить в люди. Вот этому убеждению, что Советский Союз был самым справедливым (а именно социальная справедливость была его стержнем) проектом в мире, я не изменил.

## О ТЕАТРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

— **Николай Николаевич, есть ли у Вас специальный подход к работе именно с молодыми актерами труппы театра? В чем он заключается?**

— Я не теоретик, я практик. Приходит фактура, организм, приходит глина, материал, из которого можно лепить то или иное. Сначала пробуем его на том репертуаре, который уже в действии. Он проявляет себя, свои наклонности к тем или иным жанрам, амплу, характерным вещам, и тогда ты уже начинаешь планировать на него какую-то новую работу, где бы он индивидуально себя проявил без повтора, дублей того, что уже было до него.

— **Каким спектаклям отдается в театре предпочтение — по произведениям классиков или современных авторов?**

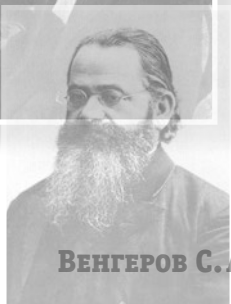
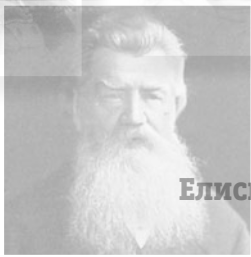
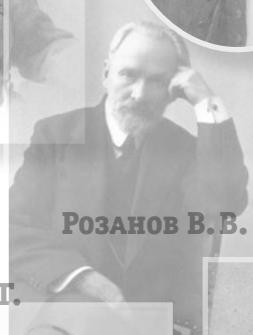
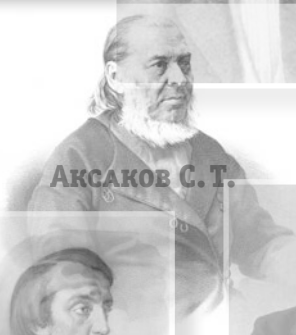
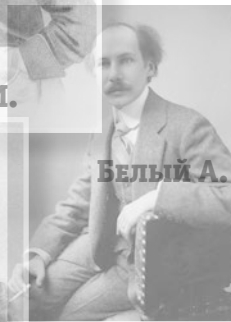
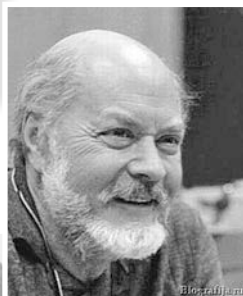
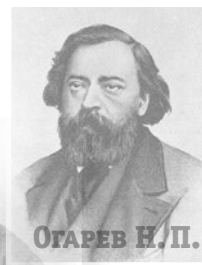
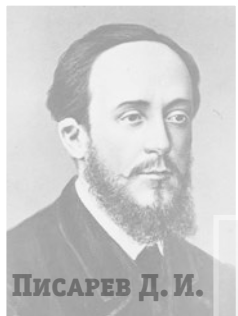
— Мы начинали с «Чайки», и она до сих пор есть в репертуаре, потом у нас были «Иванов» А. П. Чехова, «Белые столбы» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Дурь» Н. А. Некрасова. Нынешний репертуар, арена жизни — полностью классика, это Салтыков-Щедрин. Последний спектакль «Концерт по случаю конца света» почти целиком основан на классике, но звучит там и современная поэзия, конечно. В этом сезоне ожидаются премьерные спектакли: «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова (режиссер Мария Федосова), спектакль «Страсти Хокусая» по пьесе «О-Бон» современного автора Елены Исаевой. Кроме того, по нескольким литературным источникам и специально для актеров старшего поколения режиссер Наталья Старкова поставила спектакль «Веселого Рождества, мама!». Так что и классики, и современности у нас в меру. Разумеется, постановки делаются с акцентом на текущий момент, поскольку людям надо думать, как жить в столь резко изменившемся обществе, где человеческие отношения претерпели разительные перемены.

— **Как Вы полагаете, насколько современный театр и литература влияют на формирование идеалов у молодых людей и влияют ли вообще?**

— Не до такой степени, как в нашей юности, в наше время. Все-таки тогда театр был неким светочем мыслей и нравственностей, неким жизненным ориентиром, благодаря которому человек выбирал для себя цели, которым хотел следовать. Сейчас театр — это больше развлечение, коммерция, времяпрепровождение etc.

Беседу вела Екатерина Корнеева

# Страницы Льва Аннинского







Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год

## ПРОЩАНИЕ С ПЕРЕДРЕЕВЫМ

**О**бщались мы в начале 1960-х годов: я работал в отделе критики журнала «Знамя», в той же комнате сидел заведовавший поэзией Станислав Куняев. Литературный институт был рядом, во дворе, поэты плотно тусовались в редакции. Я в их компанию не входил, но с Куняевым — еще с университетских времен — сохранял хорошие отношения. Их я перенес и на Передреева: мне нравились его стихи (я посвятил ему пару страниц в одной из своих статей), нравилась его внешность (я сделал его фотопортрет, который он воспроизвел на обложке своего первого поэтического сборника).

Все это оборвалось с делом Синявского и Даниэля: я ушел из журнала и «укрылся» в Институте философии, куда едва доходили слухи о жизни литераторов. В том числе об Анатолии Передрееве, о каких-то драматичных переменах в его жизни.

Я не видел его лет двадцать.

И вдруг — последняя, обескуражившая меня встреча. Уже в 80-е годы.

Я забежал в буфет Дома литераторов и уже допивал свой кофий, когда заметил Куняева, сидевшего с человеком, в котором я не сразу узнал Передреева. Куняев знаком пригласил меня подсесть. Я подсел и, словно мы расстались вчера,

попытался начать какой-то общепринятый треп на тему: ну, как жизнь?

Тут взял слово Анатолий.

Не воспроизведу его монолога в точности, но смысл такой:

— Что ты можешь знать о жизни? Думаешь, что если ты критик, то тебя кто-нибудь здесь станет слушать?

Я думал, он шутит, но в глазах его прочел такую злость, что немедленно встал и отошел.

В дверях я с кем-то задержался, а потом обернулся и увидел, что Передреев ушел, а за столиком сидит один Куняев.

Я к нему вернулся:

— Стас! Чего это Анатолий разговаривал со мной так странно?

Куняев улыбнулся:

— Не бери на свой счет. Он теперь со всеми так говорит.

— Разочарование в жизни? — опять попробовал я состричь.

— Нет, скорее очарование алкоголя.

— А-а, тогда понятно...

Мы простились.

Через недолгое время я узнал, то Анатолий Передреев умер.

Осталось очарование стихов. Навсегда.

Продолжение следует.



## А ВЕДЬ МЫ ЕСТЬ?!

**Б**абушка Сова взбирается на дерево и сверху созерцает действия участников. Она их, милых, узнает по походке. Вот Ослик — он передвигается спокойно и независимо. Зайка — с обаятельной доверчивостью. Ежик — с живостью, взнузданной интеллектом. Медвежонок — с изящнейшей косолапостью.

Выясняют, кто что видел во сне и что делается наяву. Спасаются от воображаемого Волка. Слушают пение воображаемой Лягушки. Рассуждают: если задремать и что-то вообразить, то оно будет — как живое.

— А это живое можно зажарить и съесть?

— Нет, не стоит. Лучше послушать стихи... китайских поэтов.

— Ты же только что говорил другое!

— Ну и что? Я и думал другое.

— А так разве можно: думать одно, а говорить другое?

— А ты реши, есть ли я на самом деле, если я с тобой говорю, а думаю, что меня нет?

Осознав этот философский тупик, Бабушка Сова слезает с дерева, берет метлу и начинает выметать сцену и этих мыслителей.

Повернувшись к зрителям во время финальной овации, она одаряет зал молодой счастливой улыбкой.

Они все молоды и счастливы — студийцы Мастерской Андрея Щукина, инсценировавшего с ними известную сказку Сергея Козлова на сцене Дома актера.

Спектакль называется «Правда, мы будем всегда?».

Правда, дорогие!

Не теряйте душевного равновесия в воображаемых ситуациях.



**Борис ЕВСЕЕВ**

Борис Евсеев — лауреат премии Правительства РФ в области культуры и премии «Венец», Бунинской, Горьковской и других литературных премий, финалист «Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны».

Евсеев — писатель трудной и интересной судьбы, справедливо причисленный критикой к «задержанному поколению» нашей литературы.

Получил музыкальное, журналистское и литературное (Высшие литературные курсы при Литинституте имени М. Горького) образование.

С 1991 года печатается в ведущих литературных журналах: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», «Москва», «Новый журнал» (США) и др.

Автор книг прозы «Баран» (2001), «Отреченные гимны» (2003), «Власть собачья» (2003), «Русские композиторы» (2002–2010), «Романчик» (2005), «Площадь революции» (2007), «Чайковский» (2008), «Живорез» (2008), «Лавка нищих» (2009), «Евстигней» (2010), «Красный рок» (2011), «Пламенеющий воздух» (2013) и др.

В последние несколько лет о творчестве Б. Евсеева написаны более ста семидесяти статей, рецензий, заметок, целый ряд диссертаций.

В вузовском учебнике «История русской литературы XX века» (часть 2, под ред. профессора В. В. Агеносова) Евсееву посвящена отдельная статья.

Двумя изданиями вышли книга доктора филологических наук А. Ю. Большаковой «Феноменология литературного письма. Проза Бориса Евсеева» (2003, 2004) и книга кандидата филологических наук А. Ю. Кирова «Русские каприччо Бориса Евсеева» (2011). Снят документальный фильм «Люди и судьбы. Борис Евсеев» (автор А. Марущак, телеканал «Скифия», 2011). В том же году на телеканале «Культура» вышла программа «Линия жизни», посвященная творческому пути Б. Евсеева.

Проза и эссе переводились на английский, болгарский, голландский, итальянский, испанский, китайский, немецкий, эстонский, японский и др. языки.

В настоящее время — профессор кафедры творчества Института журналистики и литературного творчества.

Живет в Москве.

## Юность прозы

### Обращение к читателям

**С**овременная проза — самое юное из искусств. Только кино моложе. Но ведь и кино состоит из хорошо раскадрованных монтажных звеньев прозы!

Именно поэтому у прозы должен быть молодой, «зубастый» читатель.

Со времен Антона Павловича Чехова отношения читателя и писателя ста-

ли в корне меняться. И теперь в каждом качественном рассказе, в каждой повести читатель — полноправное действующее лицо. Причем сегодня читатель не всту-

пает с писателем в критическую перепалку, как это было в XIX веке, не одергивает и не ставит зарвавшегося автора на место, как было совсем в недавние времена! Нынешний читатель в прозе дозревает, живет, старается сделать текст писателя «моложе», выразительней.

Что это за зверь такой — «молодой» текст? Молодые пишут молодого, а старые — старое? Нет, здесь другое!

«Молодой» текст создал Толстой в «Хаджи-Мурате», а ему было за семьдесят. «Молодой» текст создал Бунин в «Темных аллеях», будучи еще старше Толстого. «Молодой» текст создал Катаев в «Святом колодце». Но и двадцатипятилетний Лермонтов написал неувядающе молодую «Тамань»!

Словом, «молодой» текст может написать каждый, кто способен в одной фразе (а значит, и во всем произведении) дать новые и неожиданные сгустки действительности, запечатлеть новые, абсолютно непредсказуемые культурные контексты. Пример? Юрий Тынянов, «Смерть Вазир-Мухтара». Главный герой — вазир-мухтар — русский дворянин Грибоедов! Между посланником — «вазир-мухтаром» — и отечественным поэтом-мыслителем сразу возникает бездна новых контекстов, неожиданных значений, небанальных образов и слов!

Поэтому лучше всего, когда к читателю обращается не сам писатель, а его текст. Именно авторский текст (а не биография писателя) — сегодня арена дей-

ствий продвинутого читателя, именно в подтексте вспыхивают и ярко горят возможности «молодой» прозы, которая в недалеком будущем определит судьбу России.

Помня, что в любимой многими поколениями «Юности» печатались такие выдающиеся мастера «молодой» прозы, как Валентин Катаев и Василий Аксенов, Борис Васильев и Фазиль Искандер, и, надеясь в меру сил, соответствовать их уровню, с радостью и надеждой предлагаю нынешним читателям свою новую повесть «Офирский скворец».

И очень рассчитываю на умное и дерзкое проникновение в текст, на продолжение и улучшение вложенных в повесть движений души и сокровенных мыслей.

С уважением, Борис Евсеев, прозаик

## ОФИРСКИЙ СКВОРЕЦ

### ПОВЕСТЬ

*Рисунок Настасьи Поповой*

#### ДЕЛО № 2630

— ... **а** вчерашнего дня совершил тот Ванька прегрешение мерзопакостное!  
— Убег, сквернавец?

— Из смиренного дома не убежишь. И решетки, и запоры — все чин по чину. Тут — иная печаль... Ученого скворца, что по добросердечию в смиренном доме содержать ему разрешили, на волю выпустил! Подговорил караульного: «Дескать, весна на дворе, птицу жаль. Для забавы, мол, держал ее. Так ты, сменившись, передай скворца — из полы в полу — верному человеку. Человек тот убогий: Левонтий-немтырь. Птица разговорами его и утешит...» Караульный, первогодок

непоротый, Ваньке — возьми да и поверь! Но самое мучительное в другом: будучи после Петропавловки, по всемиростивейшему указу водворен в смиренный дом, Ванька Тревога послаблением этим дерзко воспользовался! Взял и подучил скворца нести околесицу про Тайную экспедицию, про Голкондское да про Офирское царство...

— Неужто царства такие существуют?

— Царства Голкондского точно — нет. Ванька сам от него давно отказался. А насчет царства Офирского — еще разбираться надо...

Передразнивая Ваньку, Степан Иванович измучился, осерчал, досадливо смахнул слезу, на

минуту смолк, откинулся в кресле. Стакан для перьев, нож для резки бумаги, пара подсвечников, чернильный прибор из лазурита — почтительно отдалились. Чувства, однако, были приведены в порядок, и сразу же нос обер-секретаря с прямоугольным кончиком, словно вылепленный из твердой белой глины, дрогнул крылышками, издал сопение, задвигался резче, мощней, будто хотел соскочить с лица, кинуться, подобно борзой, за лисой или зайцем!

За учуянной дичью последовал также и взгляд. Но тут же розыск прекратил, зарылся в хамаданский верблюжий ковер. Взгляд Степан Ивановича был послушен внутреннему голосу, который отчетливо произнес: надо оставить в покое зверье крупное, зверье мелкое и следовать только за зверьем опасным!

Шешковский прикрыл глаза прозрачной детской ладошкой.

— А только Бог с ними, с царствами. Не в них главный соблазн.

— В чем же он, ваше превосходительство?

— А вот в чем. Кто мне теперь в точности скажет, чему еще Тревога обучил скворца?

— Так расспросить его с пристрастием! Как на духу все и выложит.

— Кто выложит? Скворец?

— Ванька...

— Да вот же, пока не выложил. А расспросить — расспросили. Я сам на Васильевский в смирительный дом ездил. А перед тем — на Пряжку, где Ванька одно время в гошпитале содержался. Только хитер Тревога! Рассказал многое, но не все. Сказки и прожекты его, вкривь и вкось накарябанные, сама государыня читать изволила. Про склонность его к обману и литью фальшивых монет ей тоже доложили. Равно как и про то, что призывал Тревога российских и иностранных подданных основать, как он сам написал, «с трудом и потом» — новое государство на острове Борнео. Выдумкам тревогинским матушка не поверила. Назвала их «сплетением вымышленных сказок». Но что-то в тех сказках государыню до слез тронуло. А посему вердикт ее был...

Шешковский откинул сукно, вынул плотный лист бумаги: «Оный Иван Тревогин все сии преступления совершил по молодости своей, от развращенной ветрености и гнусной привычки ко лжи... Других же злодеяний от него не произошло...»

— Не имел Тревогин жестоких умыслов, — изволила добавить матушка-государыня, — пожалеть его надобно и от тяжкого наказания избавить.

— Ну, ежели матушка-государыня так изволила говорить...

— Ты далее слушай. Тут дело ясное: брешет Тревога, как пес смердящий! Но брешет складно, иной раз высокоумно. А еще Ванька девичий характер имеет. Чувствительность его и пронзила государыню до слез!

— А я-то, ваше сиятельство, грешным делом, думал: к мужеским характерам матушка-государыня склонность питает.

— Цыц, пакостник! В мысли матушкины нюхальник не суй! Ишь, смелость взял узнавать тайное... И сиятельством меня не зови. Из мешан я, хоть по должности и выше многих князей буду. В московской конторе тайных разыскных дел подканцеляристом служил. Сам бит, сам порот бывал. А говорю это того ради, что двадцать лет мы с тобою, Игнатий, одну лямку тянем. Еще потому, что не всякий поротый злобу на порку держит. Таков и я... С Ванькой же Тревогой и его птицей деликатность требуется. Не каждому доверить могу. И матушка-государыня недовольна будет, коли что не так. Про Москву тоже вспомнил не зря: тайная часть нашей беседы Белокаменной коснется.

Шешковский встал, легонько охлопал себя по бедрам, щелкнул кистями рук.

Кабинет был затемнен. Узко сдавленное питейное утро в него почти не проникало. Рыжебровый Игнатий, в который раз уже, подивился мозглявости обер-секретаря Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате. Посмеялся про себя и над мелким чмыханьем Степан Ивановича.

Чмыханье, однако, было делом привычным. А вот что оказалось новым, так это запах пачулей. Мшистый, женский, плывший из тайной комнаты, соединенной с домашним кабинетом Шешковского, запах встревожил Игнатия не на шутку!

— Слушай, что говорю, пакостник, — оторвал Игнатия от впечатлений обер-секретарь, — есть на Москве один овраг. Голосов овраг зовется... Слышал про него, когда еще в подканцеляристах обретался. Одиннадцать лет назад, в году 1774-м, когда по делу Емельки Пугача в Москву послан был, ездил я тот овраг осматривать... Место сырое и место странное. И хотя вблизи сельцо Коломенское, где блаженный Алексей Михайлович скучать любил, — все одно место дикое! Говорили про тот овраг — всякое. А середыш дела вот в чем. Есть в овраге расселина! В каковую, по секретным записям, и татарские конники, и стрельцы сотнями, и дворцовая стража десятками, и обычный люд не единожды и не дважды провали-

вались. А потом — когда через двадцать, а когда и через сто лет — провалившиеся живы-живехоньки в Голосовом овраге обнаруживались. Что с ними творилось далее — ни в сказке сказать, ни пером описать. И ведь не одни стрельцы или конники обратно из расселины выныривали! Некие особи в железных колпаках, с ружьями, пуляющими по сто раз в минуту, — являлись. Ни стрельцы, ни железные головы долго не жили: так с выпученными глазами через месяц-другой в московских узилищах Богу душу и отдавали.

— Диво дивное, Степан Иваныч!

— Врал про ту расселину один философ-головастик в застенке: будто век наш осьмнадцатый через нее с другими веками соединиться может — хоть с десятым, а хоть с двадцатым!

— Чудо, чудо!

— Не чудо. Обезьянчики немецкие безобразят. И наши академики им вослед. Недаром, ох недаром Михайлу Ломоносова сжечь хотели. И заметь: тогдашняя Тайная канцелярия к тому предполагаемому сожжению малейшего касательства не имела.

— Да я б тому Михайле!..

— Заглохни, тетерев... Далее. Делая вид, что изнемог под пыткой, Ванька все ж таки признал: дескать, скворца разным словам выучил и в Голосов овраг со своим подручным, Левонтием-немтырем, отправил. Чтоб там птицу для будущих времен сохранить. Дабы мог скворец в будущих временах против нынешнего правления свидетельствовать. Только брешет, авантюрист! Взяли мы вчера Левонтия. И впрямь: нем и скрытен оказался. И хоть письму обучен, ничего про скворца письменно не сообщил. Самого скворца тоже при нем не обнаружилось. Написал же Левонтий всего несколько слов: мол, передал птицу человеку по имени Фрол. С тем, чтобы, как и велел Ванька, скворца в Голосов овраг, к расселине доставить. Да боюсь, про Фрола тоже брешет. Может, скворец сам в Москву упорхнул, проверить надо.

— Нешто скворец голубь?

— Не голубь, а поумней голубя будет. Голубь что? Голубь птица скудоумная. Что к ноге прицепили, то и доставит. А скворцы связной людской речью владеют. Ум выказывают. Способны слова припоминать, мысли компоновать. Ежели скворец был некогда из Москвы сюда привезен — сам дорогу найдет. Только, нутром чую, не сам скворец в Москву упорхнул! Людшки низкие помогли!

За ресницу вновь зацепилась и в нерешительности — как намек на сложность обстоятельств, —

повисла прозрачная, едва заметная слеза. Эту слезу Шешковский смахивать не стал.

— Ты вот что, Игнатий: надобно скворца того изловить. Надобно сюда его представить! Бери Савву да Акимку, бери из наших возков, какой победнее: безоконный, крытый рогожей. И бурей — в Москву! Авось у расселины скворца перехватите. Даже и в мыслях нельзя допустить, чтобы он в других временах очутился.

— А ежели мы сами в ту расселину ахнем?

— Значит, туда вам, телепням, и дорога! Только не чую я в той расселине достоверности... Да гляди, Игнатий. Помнишь, каким из Литвы прибыл?

Сухой перхающий голос Шешковского был неприятен. Великан Игнатий поморщился, однако послушливо, как дитя, склонил голову.

— А «рогатку» на шее у Арсения Мацевича помнишь?

— У попа, што ль? Коего государыня повелела во всех бумагах сперва «Андрей Бродягин», а после — «некий мужик Андрей Враль» именовать?

— Цыц! Ты мне, Игнатий, подследственных бесчестить не смей. Всех их люблю, до шпыня последнего! В их же мучениях их и люблю. Уразумел?

— Как не уразуметь...

— А уразумел, так излагай по форме: мол, рогатку у епископа Мацевича на шее помню. И знай: злоумышляющих на царство, будь то поп и весь его приход, будь то помещик и все его дворовые, Шешковский из-под земли выроет, из любой расселины достанет! И в тайную комнату, и на кресло!

Игнатий попятился. Про кресло для экзекуций, опускаемое и поднимаемое через отверстие в полу тайной комнаты, соединенной с кабинетом Шешковского, было ему известно доподлинно.

— Ладно, не вешай носа. Грамоте знаешь?

— Чтению обучился. Письму — не сумел.

— Держи лист из дела. Прочитай сколько-нибудь вслух.

Шевельнув рыжими волохатыми бровями и не решаясь откашляться, Игнатий, сипя, прочитал:

— Дело за номером 2630. «Об Иване Тревогине... распускавшем про себя в городе Париже нелепые слухи...»

— Париж — городишко французский. Сперва французы слухам тем не верили. А недавно — как взбеленились! снаряжают отряд. Искать на острове Борнео указанное Ванькой Офирское царство. Чти далее.

— «...по делу Ивана Тревогина, доставленного из Парижа в Санкт-Петербург в сопровождении тайного агента господина Обрескова, а также инспектора французской полиции мосье Ланпре,

и определенного в Петропавловскую крепость, прочитав все его истории и сказки, государыня повелела: "Выпустить секретного арестанта Тревогина..."» Тут пропуск!

— Так надо. Чти далее. — Голос Шешковского стал сух невыносимо.

— «...а как в смирительном доме вел себя Тревогин подобающе, то продержав его там еще с полгода, отдать в Тобольский полк солдатом, под особый надзор».

— Сам я Ваньке про этот указ недавно и рассказал. Обрадовал подлеца. А он — возьми да и выпусти птицу!

— Тут дело ясное. Упекут Ваньку в Тобольск, навряд ли назад вернется. И скворец в Сибири пропадет. Вот Ванька и решил: дескать, сам сгину, так хоть птицу в Москву отправлю.

— Дурак! Ванька сгинет — записки его останутся. Матушка-государыня уничтожать их не велела. Для истории, сказала, сгодятся. А тут еще скворец ученый... Что он про наши времена и про государыню болтать станет, ежели Голосов овраг и расселина взаправду с иными временами соединяются? Так что ноги в руки — и в Москву! Листки эти сжуй и проглоти. Для тебя одного с дела копию сняли. Савве и Акимке про тайный смысл дела — ни словечка!

Степан Иванович бережно опустил себя в кресла.

Запах пачулей из тайной комнаты внезапно резко усилился.

«Снова бабу расспрашивать привезли. Она, дура, запахами играет, думает — поможет. Ух, мне б ее», — Игнатий хищно втянул в себя воздух.

— ...сюда, сюда мне, скворца ученого привезите! Да бережно под крылышки его принимайте, клюв ему, разбойники, не повредите! Сам истории про Офир слушать желаю! Сам...

«Ну, пустили савраску без узды», — просипел, откланиваясь, Игнатий.

\* \* \*

На Москве были через четыре дня. Потоптались у Лобного места. Откушали пирогов московских: с кашей и зайчатиной. Не тратя времени зря, двинули возком в сельцо Коломенское.

В церкви Вознесения Господня кончали благовест. Уже свалившийся было под горку день — вдруг вернулся. Глянуло вечернее солнце.

— Троица скоро. Праздник взыскательный, праздник строгий. А мы тут баклуши, не помолясь, бьем. — Кучер Акимка размял ноги, перекрестился, почесал батоном спину.

— Вон он, Голосов овраг, — негромко вымолвил провожатый, — вперед и левой глядите. Только я туды не ходок.

Провожавший питерских Сенька Гуль, до скончания века обязанный Шешковскому сокрытием одного из темных дел своих, мимовольно попятился.

— Дальше — сами. А то, вишь? Зеленцой туман берется. Как бы худого не вышло. Ходят слухи — пропадают здесь. — Сенька жадно, по-звериному сглотнул слюну.

— Ладно, ступай себе с Богом. Слухи эти нам ведомы. Лошадей и возок постереги. Мы на птицу силки поставим, подождем до ночи — и назад. А не попадет в силки... — Игнатий один за другим выдернул из-за пояса пару двустольных пистолетов... — Савва у нас птицу на лету сшибает. Так, закадыка? — подмигнул гололобому Савве Игнатий.

— А до утра не потерпит? — Костистый, обриганный на турецкий манер, с усами обвислыми Савва нехотя принял пистолеты.

— Услыхал я сейчас звоночки нежные. И покриканья из оврага доносятся. Слова в тех покриканьях вроде человеческие. Только, чую: птица кричит. Наставь ухо трубочкой, Савва, сам услышишь.

В щебете и гомоне майского вечера внезапно и впрямь услышалось: «Офир-р! Офир-р! Поданные рады! Государ-рыня в гнев-ве!»

— Скворец! Скорей вниз!

На краешке одного из слюдяных камней сидел страхолюдный мужик. Скорей всего, это Фрол, указанный Левонтием-немтырем, и был.

По земле меж его огромных, черно-синих, раскинутых в стороны ступней, едва прикрытых изодранными в клочья опорками, ходил взад-вперед и покрикивал крупный желтоухий, с красным надклювьем скворец.

— Хватай их!

Фрол мигом вскочил, подхватил скворца, сделал два-три шага в сторону и внезапно исчез: точно сквозь землю провалился.

— Тут он, Игнатий, тут! Гляди, шапка за куст зацепилась!

— Как бы нам в расселину не угодить...

Зеленоватый вечерний туман стал внезапно сгущаться.

А когда туман рассеялся — ни Фрола со скворцом, ни Игнатия с Акимкой и Саввой близ громадных слюдяных камней видно уже не было.

Сенька Гуль ждал с лошадьми и возком день, ждал другой. Поговорил со знакомым трактирщиком. Тот присоветовал — ждать неделю.

— Только не вернутся они. Здесь так уже бывало. Полусотня стрельцов провалилась когда-то. А через сто лет выступили те стрельцы наружу. Да только вскорости все померли. Не выдержали перемены лет.

— Мать честная...

— Ты, Сенька, вот чего, ты на Дон беги. А лучше — в Новороссию. На тебя пропажу лошадей списать могут. В Новороссии сенатор Потемкин новые города, слышал я, закладывает. Там Шешковский тебя ни в жизнь не сыщет. А лошадей я у тебя куплю. Возок — офеням сбавим... Ну, по рукам?

— Прах с тобой, по рукам!

Неделя отшумела быстро. Сенька Гуль отдал трактирщику лошадей задешево. Но и того хватило с лихвой. Разложив на тряпиче червонцы, Сенька глядел на них как на съестное: глотая слюну, жадно, пристально.

Грянула Троица. Однако ни в Троицын, ни в Духов день, ни позже Сеньку, равно и прибывших из Петербурга разыскателей Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате, в сельце Коломенском больше никто не видел.

## 300С

— Гр-ром и с-стекла! Гр-р-ром грянет — стекла др-ребезгом! З-золото — прахом! Офир-р, Офир-р! Майна, корм!

Внезапно скворец замолчал и спрятал голову под крыло.

Приближался раздатчик корма. За ним двое вьетнамцев катили тележку с бидонами и эмалированными мисками. С краев мисок на кровянистых нитях свисали кусочки сырого мяса.

Скворец-майна, сидящий на жердочке в просторном вольере, разносчика ненавидел. Но крики его скворца не пугали. Наоборот! Весело было слушать и смотреть, как этот дурошлеп, плямкая сизыми губами, выталкивает из себя порциями пар и сор.

Петюня Раков, разносчик с четырехлетним стажем, сперва распределил пищу между царями природы: орлами и прочими сипами белоголовыми. А уж после вернулся к скворцу: показал майне кукиш, кинул в миску кусок окаменевшего сыру. Клевать сыр скворцу было неинтересно.

— Вы гляньте, какой гордый! Святым духом будешь сыт, долбак? Да я тебя...

— З-за Можай! З-загони майну з-за Можай!

— У, змей пернастый...

— Пок-к-кажи майне кук-к-киш! Зоос! Зоос!

— Молчи, балалайка!

\* \* \*

В Москве, в Зоопарке, объявилась диковинная птица. Разместили птицу в отдельном вольере, как раз напротив орлов. Те на пернатую мелочь внимания не обратили, и скворец-майна без особых тревог и нервных срывов зажил в просторном вольере один.

Как и полагается, первым делом вывесили табличку:

«*Gracula religiosa religiosa.*

*С острова Борнео, питается... размножается...»*

И все пошло своим чередом.

Однако вскоре по Зоопарку разнеслось: скворец-то говорящий!

Скворец-майна был желтоух и синекрыл, а клювом обладал — багряно-красным. Говорил не так чтобы часто, иногда словно через силу. Больше любил передразнивать гудки машин и велосипедные трели, которые издавал раздатчик Петюня, по утрам и в обед объезжавший свои владения на трехколесном итальянском драндулете марки Bianchi с латаными-перелатаными, но пока никем по-настоящему не исполосованными шинами.

Петюня ехал с распахнутым сердцем и, подражая московским рэперам, в полный голос скандировал: «Ах вы, звери, мои звери, звери сраные мои... Звери новые, хреновые, ус-сатые, поло-сатые...»

Никто Петюню особо не слушал. Но езда на драндулете воодушевляла его сильнее и сильнее: «Выходила молода за новые ворота, выпускала скворца, долбака и подлеца...»

В то мартовское утро скворец-майна на Петюнины дразнилки отвечать не стал: не дожидется! Но когда скворец внезапно заговорил о своем, наблевшем, не только Петюня — даже федеральный судья Чмых, три-четыре старушки, плюс к ним третьеклассники брат и сестра Заштопины, которых без няньки в Зоопарк отпускать попросту боялись, так гнусно они себя там вели, — в сладком ужасе застыли на месте.

— Пут-тину — слава! Нам, дур-ракам, — ко-нец! Зоос, придурки, зоос!

Хорошо, скворец поговорил и сник. А иначе не дожить бы ему до того дня, с которого и начинается наша история: так на скворца обиделся Петюня!

\* \* \*

Денек мартовский, денек пока еще не весенний, тающая льдинкой на губе долгая московская зима, крики гусей, пар над водой... Радость, радость!



— Видишь того скворца? Пальцем не тычь — а? Заказ на него поступил. Так ты вечером на грудь не принимай: будем выдергивать из скворушки перушки.

— И че потом?

— Суп с котом.

Двое охламонов небольшого росточка, оба, как те грибы-крепыши, крепко притиснутые ошляпленными головами к закругленным плечам, толкнув друг друга выпяченными животами, разошлись в разные стороны.

Тихо взвизгнули, стукнувшись лбами, слабо-нервные дети, заокала привезенная откуда-то с Северов нянька в охристом платке: «Ой, лишенько мое лихо, лихо мое поморское...» — день подрос, сухо хрустнул костью и побежал по Москве, сперва на четырех лапах, затем, как белый медведь, встал на две, дорос до неба, выпустил изо рта несколько круглых, прозрачных туч и лишь затем стал опадать, гаснуть.

Уже после заката, трижды прозвенев мелодичной велосипедной трелью, снова заговорил скворец:

— Р-р-раздатчик сволочь. Дайте спирту! И з-за нюхать. Скор-рей! Мне дур-рно. Пут-тин — эт-то верняк! Царство Офир-р! Офир-рская земля!

Никто скворца не понял, и он, захлебнувшись руганью, стих.

\* \* \*

Офирская земля после некоторых умственных запуток была признана Россией: образца XXI века, 014 года, марта месяца. Крики скворца напомнили о чем-то важном, струнули с места сырой и необмерный пласт памяти, а откуда этот пласт взялся — шут его знает!

Володя Человеев, представитель московской богемы и один из последних в тот полузимний вечер посетителей Зоопарка, задумался.

Постояв, нехотя тронулся к выходу.

Володя шел к выходу в лаковых, с фиолетовым отливом штиблетах и словно под сурдинку бормотал: «Офирская земля... Царство Офир... Что бы это по-настоящему значило? Конечно, если майна кричит про Офир по-русски, то это — что-то близлежащее, птичьим умом вполне осягаемое...»

Мимо Володи прошмыгнули два упыренка, тесно накачанных спертым воздухом страсти. Упыренками Володя звал всех не богемных жителей столицы старше сорока. Упыренки сгнули, и Человееву захотелось углубиться в свои, а потом в чужие мысли. Но ничего своего в голове в тот час не отыскалось. А из чужого вспомнилось одно

лишь: «Не сеют, в житницы не собирают, а сыты бывают...»

«У кого бы про Офирское царство спросить?»

Ответа не было.

Тогда Володя стал думать про желанное и утешительное: про вечерний ресторан, про то, что молодость — ужористая штука, что ему только тридцать с хвостиком, что он не бедняк, а скорей, богач, что кроме лаковых штиблет на ногах — на плечах у него кашемировое, легкое, как пух, но и теплое пальто, а на голове четырехклинная, ловко скроенная и до помутнения ума прикидистая конфедератка.

Тут Володя снова вздохнул, а потом даже упрекнул себя стихами, вылившимися в длинную, слегка горячечную строчку: «Средь людей я дружбы не имею, я другому покорился царству, каждому здесь кобелю на шею я готов отдать свой лучший галстук...»

Галстука у Володи не было, и он решил завтра же, зеленый в косую полоску ошейник, прикупить.

\* \* \*

Сорокалетние Мазловы были только на вид туповаты. На самом же деле — себе на уме. Скромный росточек их ничуть не томил. Томило близнецов другое: на них, как говорится, едун напал! Братья ели ночью, ели утром и в обед, перед ужином и сразу после него. Сейчас, в Зоопарке, оба дружно хрумтели хорошо обжаренным московским картофелем, доставая негнущимися пальцами из шуршащей пачки пять-шесть ломтиков зараз.

Братья Мазловы прятались за широкими плакатами и оголенными растениями, дожидаясь полного остекления вечернего воздуха и хотя бы частичного онемения гусей-уток на пресненских прудах.

Вскоре такой миг — миг вечернего онемения и сытой плотности — настал. Братья умело отключили сигнализацию, взломали дверцу вольера, запихнули священную майну в мешок, перемахнули в заранее подготовленном месте через забор... Только их и видали!

За оградой, в Зоологическом переулке, братьев никто не ловил, под белы руки не брал, в каталажку не сажал. Всяк был занят своим: кто Крымом, кто Римом. Близнецы расслабились, закурили, влезли в машину. Чуть погодя старший вышел закрепить дворники, за ним — отдышаться — выбрался младший. Украденного скворца старший вместе с мешком пристегнул к поясу и так вокруг машины и ходил. Выглядело смешно.

## ГОЛОСОВ ОВРАГ

— Как жнец с картинки! — хохотнул младший.

Старший отстегнул мешок, развязал веревки, глянул свысока на скворца:

— Повтори, змей пернастый: как жнец с картинки!

Украденный скворец молчал.

Старший Мазлов — двадцатиминутным своим первородством что было сил гордившийся — туго затянул мешок веревкой, но потом опять ее ослабил, выдернул скворца за крыло из мешка, щелкнул по клюву.

Скворец стерпел. Этим он Мазлова-старшего к себе сразу расположил.

Зато надулся младший:

— Дай ему в клюв еще раз!

— А если он говорить перестанет? Ты за него трындеть, что ли, будешь?

— Подпали ему хотя б перья на заднице. Я из-за него штаны об забор порвал. Или давай его научим нашему, мазловскому... Ну, скажи: «Все петушары, все уроды!»

— Тихо ты! Раскукарекался, — оборвал старший, — не видишь? Идет кто-то.

\* \* \*

За десять минут до этого, входя во второй раз за день в закрывающийся уже Зоопарк, Володя Человеев услышал заполoshные крики скворца и тревожно замер. Крик повторился. Володя понял: что-то не так — и припустил что есть мочи к вольеру. Добежавши, вольер осмотрел: священной майны — как не бывало! Минуты через полторы две абсолютно одинаковые фигурки сиганули вдалеке через высоченный забор, отгораживавший Зоопарк от Зоологического переулка.

В тот устало мерцающий вечер в Зоопарке уже никого не было: только пар от прудов и внезапно хлынувший ледяной дождь.

— Уперли, охламоны!

Лезть в лаковых штиблетах через забор оказалось неудобно.

Через семь-восемь минут, оббежав Зоопарк со стороны Большой Грузинской и очутившись в Зоологическом переулке, Человеев огляделся. Злоумышленников нигде видно не было. Слышалось лишь мяуканье молоденькой писклявой кошки.

Вдруг крайняя из теснившихся в переулке иномарок рванула с места. Мелькнуло лицо одного из упырят, и день, до той поры еще цеплявшийся за изгибы водостоков и скаты крыш, тихо рухнул в негасимую вечность.

— Чуете?

— Галдеж, свист, вой звероподобный... Господи, что с нами было? И что теперь станет? Пропадем ни за понюшку табаку, Игнатий!

— В расселине не пропали — и тут сдюжим.

— Чуете, говорю, криков про Офир не слышать! Стало быть, нету здесь птицы.

— Сдеру-ка я с себя одежонку эту поганую.

— Ят-те сдеру! Хорошо такая нашлась. Покуда туман — дело обмозгуем.

Подернутый зеленцой, проеденный по краям хитрыми полевками снежный туман поднимался из Голосова оврага и полз выше, выше, на Дьяково городище, на только что отстроенный дворец Алексея Михайловича, а потом вдруг волокло его совсем в другую сторону: на торцы и башни музея-заповедника «Коломенское», на южный клин Нагатинской поймы...

Полночи и всю темную часть утра томились разыскатели Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате в Голосовом овраге. Дважды пролетала громадная желтая стрекоза с винтом. От страха падали ниц.

Приходили за родниковой водой двое бродяг. Промеж себя называли друг друга бомжарами. Одеты были во все пятнистое. В руках — двуручная корзина, из нее свешивался еще один пятнистый рукав.

У бродяг отняли одежду, запеленав их кое-как в свое, затолкали в расселину. Там бомжары затихли.

Когда посветлело, на вершок оврага выдрались двое: парень и девка. В розовых дутых телогрейках, волосы на висках и выше коротко острижены, остатки волос выкрашены сиренью, взбиты петушиными гребнями.

— Гляди, прикол! — крикнула девка. — И здесь маскарад! — Она пыхнула огоньком и, оглушая себя, запустила музыку в коробочке на всю мощь.

Взятые словно бы обезьяньей лапкой, понеслись неловкие, варняжающие звуки струн, потом кто-то, хрипя, запел: «Я — тер-рорист! Я — Иван Пом-м-мидоров! Хватит тр-репаться — наш козырь террор!»

— Выруби это старье! — крикнул, перекрывая музыку, парень.

— А не вырублю! Террорчик, террориз-зм! — взвизгнула девка.

— Ох ты, горюшко, — забормотал безбородый Акимка.

Трое в музейных кафтанах и поверх них в отнятых у бомжей камуфляжных куртках, в давно

забытых малахаях и мадьярских сапожках с чуть загнутыми кверху носами медленно выступили из расселины, усталились на сиреневые хохолки ирокезов.

Девка приветливо махнула рукой:

— А по коктейлю, френды? Здесь рядом и принять можно...

— Тьфу, пропасть, — плюнул себе под ноги Савва.

— Тише ты, — ухватил его за рукав Игнатий, — говорил же: как выйдем из расселины, всякое случиться может. Молчи!

Девчонка кинула недокурок в снежный овраг, весело запрыгнула парню на спину, засмеялась, завизжала, стала нахлестывать его, как коня, тонкими ремешками от сумочки...

Розовые телогрейки исчезли.

Слегка пошатываясь — один впереди, двое сзади, — выступившие из расселины разыскатели Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате чуть продвинулись вверх по оврагу и у неолитических камней застыли.

Вид у всех троих был ошалелый. Как в полусне, дотронулись они по очереди до одного, потом до другого камня.

И Гусь-камень, и Девин камень были холодной могильного холода.

— А камни-то, как тебе и было, Игнатий, сказано, лежат на месте!

— Куда ж им деваться. Небось по три тыщи пудов каждый.

Литвин Игнатий наступил сапогом на лежащий рядом с камнем глянцевый женский журнал. Потом наклонился, гадливо, как мышь, двумя пальцами журнал поднял, глянул на картинку, отбросил в сторону.

— Ассигнации здесь в ходу какие, узнать бы. Есть у меня запас, да мал.

— Забьют в колодки, как пить дать забьют! Было бы нам сразу, Игнатий, вернуться, было бы вообще в расселину не вступать. Повинились бы: поплутали по оврагу, да и не нашли скворца!

— Ладно, не бойсь. Что сделано, то сделано. Может, все, что видим, — одна мара косматая...

— Ага, мара! Ты вон побродягу сам лупцевал. Тело-то у него настоящее... Забьют, как есть забьют!

— Авось не забьют, горло оловом не залят.

— Што олово! Мишке-таратую, делателю фальшивых денег, годков двадцать назад так же вот жидким оловом нутро залили. А олово возьми да и прорви ему горло, возьми и выплеснись на землю! Жив таратуй остался, хрипел и свистел аж до осьмидесяти лет!

— По мне — так одно только гишпанское щекотало, и страшно.

— Это кошачья лапа, што ль?

— Ну! Алешку Кикина, что царевича Алексея в город Вену бежать подучил, надвое такой лапой разодрали когда-то. Растянули на лавке, и ну щекоталом этим, двойными этими грабельками, ему тело рвать.

— Непростой ты человек, Акимка. Откуда сокровитное знаешь? Молчишь? Ладно. Только страху на нас не нагоняй, не испугаешь. Да и пытки с казнями тут, в невещественном царстве, небось, в ходу другие. И вообще: казни бояться — с чужою бабой не спознаться. Сполним поручение — в своем царстве заживем припеваючи. Ты вон, Аким, давненько Маньку присмотрел. Так ведь она за тебя без полста червонцев ни в жизнь не пойдет!

— А это мы поглядим ишо... Ты другое, Игнатий Филиппыч, скажи. В голову мне вдруг встало. Раз времена так сильно вперед шатнулись и мы в них очутились... Значит, новые времена — они взаправдашние и есть! А тогда выходит, это наше с тобой царство — неживое! Это наше с тобой царство невещественное!.. Времечко-то вон куда заскочило. А наш Петербург с Тайной его экспедицией, с господами-князьями, да с людийками попроще — как те твари в Кунсткамере: навек заспиртованными остались.

— Умен стал?

— И впрямь: молчи, Акимка! Кака те разница во временах? Москва — она к любому веку подходит.

— Верно! Стояла и будет стоять. Сказано тебе: Москва вечный город!

— А нам в Питере твердили: на Москве — морок один! Выходит, противоположно: в Питере — морок! Мга, марь, туман!

— Цыц, сквернавец! Царство государыни — не морок, не мга!

— Молчи, Акимка, пока не переломлена спинка. Сними малахай лучше.

— Это ты верно, Савва. Весна на носу. Одевай, Аким, косынку, что у божар отобрали. Вишь? Как на этой картинке. — Игнатий пошевелил носком сапога лежащий на земле журнал. А малахай в мешок спрячь... Ну, с Богом, братия! Покуда народцу маловато, глядишь, до Дворца царского добежим. Он от расселины недалече. Там в подземельях схоронимся. А дальше одежонку справную достанем — и айда на Пресню. Там скворец, там! На пресненских прудах скорей всего обретается. Это уж в последнюю минуту Ванька Тревога под пыткой показал!..

Утренний, снежный туман лег гуще, плотней. Крестьясь, поднялись по крепкой, лакованной, по-

лыгнувшей над снегами янтарем новенькой лешенке.

Через короткое время разыскники Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате меж дворов музея-заповедника затерялись.

## СВЯЩЕННАЯ МАЙНА

Осанна Осиповна была дама вальяжная, но вопрекор вальяжности и острой гордости — страшно любопытная. Ей было интересно узнавать про посторонних мужчин дурное, чтобы потом без устали руководить ими. К дородной Осанне тянулись мужичонки незаметные, даже плюгавые. И сама она к таким плюгавеньким сердцем прирастала сильнее. Когда-то давно, случайно опустив в своем имечке букву «к», Осанна и вести себя стала созвучно имени: ежеминутно вскидывала глаза к потолку, гремела басом.

— Принесли?

— А то!

— Развязывай.

Старший Мазлов, радостно поплескав себя ладонью по черепу, наклонился к мешку. Мешок резко вскрикнул:

— Петушар-ры! Ур-роды!

— Ах ты, змей пернастый! — Младший Мазлов тоже лысостриженный, но зато с черными густыми волосами, торчащими из ушей и ноздрей, решил скворца за дерзость проучить, схватил со стола вилку.

— А ну, кыш оба отседа!

Два веских подзатыльника быстро успокоили братьев.

Разобравшись с Мазловыми, Осанна Осиповна уже меньше чем через час сидела все в той же гостиной, пила чай с бергамотом. По столу мимо ее чашки и мимо блюдца (туда — обратно, туда — обратно), задрав голову и заложив крылья, как те руки за распрямленную спинку, ходил скворец.

На одни вопросы скворец не отвечал, на другие отвечал, но как-то заковыристо. От таинственности птичьих слов у Осиповны захватило дух:

— Себе тебя, что ль, оставить? Так дорог ты больно. Ладно, покумекаю. А тогда ты вот что, скворушка, мне вдруг скажи: как жизнь моя в дальнейшем сложится? Не таи, скворушка, ответь, — мягко увещевала Осанна.

— Ур-рки, все ур-рки, — звонко щелкал клювом у Осанны над ухом скворец, — петуш-шары, в кон-нце кон-нцов!

— Твоя правда, скворушка, ну просто спасу нет, какие уркаганы вокруг. А ты сам-то кто будешь?

— Кр-рутой я, кр-рутой...

\* \* \*

Володя Человеев прочитал в поисковиках про Офирское царство и пригорюнился. Но потом снова взбодрился. Сказано про Офир было мало, но сказано трепетно. Тут же захотелось скинуть лаковые штилеты, зашвырнуть их далеко-далеко за Битцевский лес, срочно обуть лапоточки, сдернуть с крюка не крохотную сумку-«пидораску» — подхватить тяжелую котомку и, выйдя за МКАД, громко пригласить в сотоварищи какого-нибудь серого волка на японской «Хонде».

И хотя призрачное Офирское царство ни с какого боку к сегодняшнему дню прилепить было нельзя, сделать это Володе захотелось нестерпимо.

Вот только московская богема, приобретшая в последние годы внятно-паразитический оттенок и пряный устричный вкус, звала, не отпускала его!

Звал ресторан «Метрополь», с хрустом всасывал исторический отель «Советский», выл и пиликал в ушах грубо водвинутый в этот же отель ресторан «Яръ», ночной клуб «Григорий Распутин» манил неотступно.

Но в тот вечер, отринув приманки, Володя остался дома, стал по крохам выискивать в личной библиотеке все, что еще можно было найти про Офир и Офирское царство.

— «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже злата офирского...» — увлеченно читал Володя.

Правда, дойдя до слов про золото, Человеев усомнился. Где это слышано, чтоб человек был дороже благородного металла? Нынешний человек — пыль, грязь и скотские помыслы, ложное оппозиционерство и ни на грамм чистого искусства! А золото, оно беспримесное, оно по-человечески теплое. Берешь в руки — почти живое. «Вот и надо было спервоначалу золотых людей отлить, а уж потом дымить на весь белый свет глиной! Или, в крайнем разе, сорок лет подряд заставить удрученные народы глотать золотой порошок. Только нет! Сколько ни заставляй глотать — не поможет. Разве где-то изначально золотой народ существует...»

Тут Человеев почувствовал легкий депрессняк и упадок духа. Удручаловку и телесный прогиб он почувствовал внезапно!

«Что это я все про золото? Вот — птица. Она ведь золота дороже!»

Тут же до рези в носу захотелось послушать говорящего скворца, чинно поговорить с ним. Вот только находился сейчас скворец в недоступном месте, у некой дамы по имени Оксана Осиповна, а по фамилии Крышталль. Это Володя знал навер-

няка. Удачно поймав такси, проследил-таки вчера за упырятами!

Госпожа Крышталль — так говорилось в ее парадной биографии на сайте «Все девочки Тверской» — была дамой не столько богемной, сколько, на взгляд беспристрастных биографов, пательно-бандосовской.

Кое-что о даме узнав, идти к ней напрямую Володя поостерегся. Купить скворца? Могут и не продать. Украсть? Ни в какие ворота не лезет.

— Обменять! Икченьдж! — От радости Володя вскочил на стул, потом, застыдившись, прыгнул вниз и, ловко взбив очень тонкие, но при этом крепкие и слегка даже завивающиеся русые волосы, кинулся в гараж.

\* \* \*

— Слышь, Осиповна? Пусти на минуту! Разговор есть.

— Ты, Плюгаш?

— Плюгаш почку лечит. Это я, Киша Мазлик. Серьезные люди перекупить у твоего клиента птичку хотят, — заварнякал в домофон Мазлов-старший и подмигнул младшему, Тише, прятавшемуся невдалеке за деревом.

— Ну, не знаю... Надоел ты мне, Киша. Опять ласы да балясы плести будешь!

— Пусти. Не жеманствуй. Я ненадолго.

— А брательник твой, он где? Ушел куда или как?

— Ушел, милка, ушел...

\* \* \*

Думать священный скворец не умел. Но когда произносил слова или отдельные звуки, некий упреждающий мысль восторг, некое тихое, сходное с умственным воодушевление посещало его. Но ведь кроме мыслей есть еще и чувства! Чувствовал скворец остро и чувствовал многое.

Когда подражал трубному крику слонов — чувствовал в себе неодолимую силу. Когда тренькал велосипедным звонком Петюни Ракова — ощущал кислородную емкость крови и пьяную синь в глазах. А когда передразнивал Осиповну — хотелось ему иметь скворчиху: теперь и сразу, сразу и всегда! Но по-настоящему одно только слово «Офир» повергало птицу в священный трепет. Скворец колотился в судорогах и выкрикивал слова непонятные, никогда ранее им не слышанные, в общем, становился священным и великим, пугающе прекрасным и до крайности загадочным.

— Офир-р-р, оф-фирон!.. Офир-рское царство!

Что-то за этими звуками стояло высокое и плескучее, полное пшена и прозрачной воды без всякой химии! Это высокое обещало скворцу нескончаемую влагу в гортани, обещало ирей, вырей и другие сказочные края. Иногда скворец после долгих отрывочных выкриков, словно бы затуманившись мыслью, повторял чьи-то далекие и грозные слова:

— И будешь вменять в пр-р-рах золото Офир-ра!..

Третий день жил скворец у Осиповны, а за ним все не приходили.

В конце концов крики про Офир ей надоели. Скворцу, в свой черед, надоели вопросы гражданки Крышталль про ее мутное будущее.

— Пшла вон, дур-ра, — внезапно отрезал скворец.

Дородная Осиповна заплакала, потом в сердцах швырнула в скворца каминной кочергой.

— Отдам, тебя, далалай, Кише Мазлику! Вон он, внизу мается. Сейчас сюда пущу. Уж он тебе...

\* \* \*

Володя Человеев отыскал в гараже старую, плотно набитую спортивную сумку и пошел к Осиповне меняться. Содержимое сумки было дорогим и прекрасным: три металлические угольницы XVII века, полученные в наследство от деда-священника! Угольницы эти, кадилницы эти, давно пора было перенести в дом: руки не доходили.

По дороге повеса Человеев встречал знакомых. Иным — кланялся. Встречные удивлялись Володиной богемной одежде. Илья Тюйчев, весовщик и проказник, а кроме того, сосед Володи по гаражу, такую одежду порицал.

Еще один сосед, Бобылев, тоже порицающий, даже выразился в том духе, что пора бы Володю на Колыму или лучше на остров Врангеля.

— Там ему медведи лишнее быстро отъедят. Даже прикрывать конфедераткой ничего не надо будет. А то — ишь, приобрел замашку! Художество в одежде он, видишь ли, ценит... А остров Врангеля в советские времена просто переименовать забыли. Теперь и подавно предательское название оставят, — продолжал жаловаться Бобылев.

Тюйчев, пряча глаза, с ним соглашался.

\* \* \*

Снова чиликнул домофон. Осанна, всхлипывая, нажала на кнопку.

Через минуту раздался звонок в дверь. Мадам Крышталль установила клетку со скворцом в своей спальне, на тахте, на том месте, где обычно высились подушки, однако вдруг, повинувшись безотчетному порыву, накрыла клетку покрывалом: Кише Мазлику она доверяла, но не всецело.

\* \* \*

Весть о пропаже говорящего скворца дошла до дирекции Зоопарка, обогнула дугой пресненскую управу и, не теряя скорости, влетела в правоохранительные органы. Будучи оттуда изгнана как малоприбыльная, весть мигом долетела до газеты «В охотку». Из «Охотки» — в гламур-журнал «Бедра», а уж после, как и положено, в Администрацию Президента.

— Уху-ху, — качнуло несколькими головами сразу белое и пушистое чинодральское пугалище, — уху-ху и, опять-таки, блин! Только о скворцах нам сегодня и осталось беспокоиться, одни скворечники — спим и видим. В общем, так: скворец ваш — просто спам, мусор из незаконного пространства. Как с мусором с ним надо и поступать!

\* \* \*

Плюгаш и двое Мазловых шныряли по комнатам. Скворца нигде видно не было. Мадам Крышталль немо рыдала в спальне: слезы текли по щекам и падали на кляп, который был засунут второпях, без знания дела, и поэтому застрявшую Осиповну сильно мучил.

— Куда ж она его дела?

— Ну ведь не сожрала же ты вралю этого? Показывай где!

— Может, в камине?

— Где скворец, мымира полоротая?

— Мммыа...

Клетку Плюгаш и братья нашли быстро. Но скворца там не было: Осиповна забыла опустить щеколду на дверце.

— Куда дела, говори!

— Мммыа...

— Стоп. Ты табличку читал?

— Ну.

— Баранки гну! — Плюгаш осерчал не на шутку. — Вы с брательником и правда петушары. На табличке в Зоопарке было ясно написано: гракула религиозна и еще раз религиозна.

— И че?

— А то, что дважды религиозная птица вам попалась! А вы ей в клюв сигаретку, опять же табак

на перья крошили. Вот скворец и упорхнул. Гляди, у Осиповны окно нараспашку... Верно говорят: недомерки вы!

Скворец выступил из-за портьеры, обогнул платяной шкаф, не спеша прошелся по спальне. То, что скворец не летел, а шел, причем уверенной и четкой, почти людской походкой — выпрямив спину, чуть наклонив голову и при этом слегка поигрывая крылышком, — взбудоражило Осанну и налетчиков не на шутку.

— Мммыа, — опять замычала мадам Крышталль.

— Да заглохни ты!

Скворец пересек спальню наискосок, постоял у открытой стеклянной двери и все той же раздумчивой, но и полной достоинства походкой дзюдоиста третьего уровня, слегка покачивая торсом и к тому ж клоня лысоватую голову чуть влево, направился в сторону кухни.

— Как принц шествует, — зареготал Мазлов-младший.

— Тихо ты! Не видишь? Прототипам подражает!

— Че? Каким таким типам?

— Пасть закрой, петушара. Серьезным людям, говорю тебе, подражает... Только где ж это скворушка нашего ВВП мог видеть? Ну не по ящику же?

— А вдруг это евонный, ну, я хотел сказать, вдруг это — «вэвэпэшный» скворец? — холодея от ужаса, спросил умный Киша, чье сиро-халдейское имя многих отвращало, но и привлекало кой-кого.

От вспышек истины, сулившей долгий тюремный срок, Плюгаш сел на пол. Скворец вернулся, не торопясь обошел вокруг Плюгаша и, не тратя чувств на растопыривших пальцы Кишу и Тишу, а также думать не думая про заплаканную свою хозяйку, скрылся в кухонном чаду.

Такое невнимание скворца к людям вмиг довело мадам Крышталль до нервного срыва. Она стала метаться по тахте, биться затылком о стенной, толстый ковер.

Первым опомнился Мазлов-младший. С криками: «Да ему просто лень по́рхать! Вот он и подражает важным лицам!» Тиша ринулся за скворцом на кухню.

— Щас он ему «Общество защиты животных на кухне» устроит, — забеспокоился умный Киша.

\* \* \*

К Осиповне Володя опоздал. Встретил по дороге Дашутку Дрееву из журнала «Бедра» и, как раненный электропудель, замер. Дашутка манила его давно. Но сама на Володю — ноль внимания, фунт презрения.

— Гламуризация информационного поля... — пропела вместо приветствия Дашутка, — во как она меня достала, — интимно провела девушка по своему горлу острым ноготком.

— А чего это она тебя достала? — заморгал светленькими ресницами Володя.

— А не знаю. Достала — и все. Ну ладно, пока, — тряхнула золотистыми прядями Дашутка.

Володя долго смотрел Дашутке вслед, пытаясь определить, можно ее пригласить в ночной клуб «Распутин» или об этом нельзя и мечтать?

Наверное, как раз поэтому, увидав через несколько минут сквозь полуоткрытую дверь распростертую на полу Оксану Осиповну, Володя, еще оглушенный встречей с Дашуткой, сообразил не все и не сразу.

### ХАНАДЕЙ, ХАНАДЕЙ, ПТАШЕЧКА...

В течение дня, пройдя еще через три пары рук, скворец-майна — четырех лет, русскоговорящий, звукоподражающий — предстал перед финансовым воротилой, а в просторечии плутократом Вавилой Ханадеем.

Число души Вавилы было равно цифре 4. Этим числом Ханадей со страшной силой гордился и на летних праздниках часто появлялся в футболке с четвертым номером на спине.

В тот день Вавила Ильич был весел и на скворца глянул дружески.

— Какими языками, кроме русского, владеете? — огорошил он священную птицу неожиданным вопросом.

Скворец спрятал голову под крыло.

— Так... В молчанку играть будем? — Ханадей ударил по столу резиновой дубинкой, а потом трижды зажег и выключил настольную лампу.

— Ты гля, как он с ним чутко, по-людски как... А мог бы сразу на кухню, — восхищенно шептались у приоткрытой двери две хорошенькие, разгоряченные паром и варом и поэтому полуголые кухарки.

— От чоловік, от работяга, нам бы такого у рідний Хуст!

— Та там своїх з резиновими дрючками до біса!..

Не особо советуясь с мыслями, Вавила расстегнул малиновую рубашку, почесал рыжеватую грудь и снова заговорил со скворцом.

— Вот ты, к примеру, птица. А я, если разобраться, человек. Ну и чем ты лучше меня? Не жнешь, не сеешь, а жратву свою каждодневно трескаешь. Выходит — ты сачок и бузила. Таких на принудработы надо! Ну, отвечай, — не унимался

Вавила, — чем ты лучше? Скажешь — дам клюквы в сахаре.

Скворец выпростал голову из-под крыла, глянул устало в дымно-зеленые ханадеевские очи.

— Задумался? Или говорить со мной не желаешь? — вдруг до корней волос покраснел Вавила. — Так это мы проходили. Я — Ханадей! Не можешь — научу. Не хочешь — заставлю. Будешь у меня не скворец, а сквор! Эй, засони! Несите сюда говорящего попку, пусть научит этого сквора конкретному базару!

При виде серого жако скворец расвирепел. Он скакнул со стола на пол, потом ловко вспорхнул и долбанул попку, разнеженно сидевшего на руках у ханадеевского лакея, прямо в голову. А напоследок выщипнул из пышного попкиного зада пучок перьев.

Раненого жако несли назад как умирающего воина: на бархатной алой подушечке. Ханадеева сцена птичьей схватки понравилась.

Он позвонил дворецкому:

— Сквора этого не трогать, а попку долбанутого отдайте на кухню, вечером угощу гостей новым блюдом: попуганом шинкованным...

Прохаживаясь по кабинету, Ханадей продолжал размышлять:

— Ты, говорят, походке важных лиц подражаешь. А изобрази-ка ты мне походку товарища Сталина. Жуть как я по нему теперь соскучился. Крылышко, как ручку сохлую, — этак к груди. Усы тебе, знамо дело, привесим. Голову набычь — и пошел косою косить, пошел крылышком подрезать!.. Или нет. Изобрази-ка мне подлеца Андропова... Очки золотые тебе миглом доставят. Опять не желаешь? Тогда последнее творческое задание: Борис Николаевич Ельцин у трапа самолета. У меня и запаска в кабинете есть. Омочи, как говорится, колесо росой!

Возмущению священной майны не было предела.

— Не жру, не сру, вам, дур-ракам, подр-ражаю. А клюв — он не железный. И ноги! Они — устали. Ты Ханадей — кос-сая р-ряха! И ц... ц... цкоморох!

\* \* \*

Володя Человеков принадлежал к полунинтеллигентам. Так произошло потому, что отец его не учился прикладной лингвистике, мать не бегала в МХТ к Табакову, да и жил Володя до поры в Ногинске и лишь к двадцати пяти годам переехал в Москву. Но при этом запас совести им истрачен не был, краешки души от гнильцы не почернели!



\* \* \*

В силу этих внутренних качеств Володя сам от себя сурово потребовал срочно углубиться в словосочетание «Офирское царство». Может, после такого углубления станет ясно, кто и зачем заказал скворца.

При этом Володя, раньше посвящавший богеме все свои труды и дни, стал вдруг слово «богема» передразнивать, а саму богему, сосредоточенную в умопомрачительных местах Москвы, слегка презирать. Словом, Человеев занялся науками. Для начала он ознакомился с одним из трудов князя Щербатова. Труд назывался «Путешествие в землю Офирскую господина С., шведского дворянина».

Сильного впечатления этот памятник русско-шведской мысли на Володю не произвел. Князь Щербатов оказался умен, речист. Однако про саму Офирскую землю интересного сообщил мало. Конечно, князь не мог все высказать прямо, оттого и придумал шведского дворянина. Кое-какие мысли князю приходилось, еще до нанесения их на бумагу, то есть в себе самом, извращать. Это делало книгу двуличной, неприцельной.

Стал искать правды у князя Щербатова и Вавила Ханадей. Натолкнул его на это советник по кадрам, ученый сукин сын кандидат Перетякин.

— Щербатов хотел военных поселений и полицейского порядка. Но при этом вовсе не Третий Рим, а Офирское царство представлял себе как образец будущей России, — нашептывал на ухо Вавиле ученый сукин сын.

Возражения Вавилы были тверды и монументальны.

— Третий Рим — ересь. И четвертый тоже. В крайнем разе согласен на Четвертый Крым. О поселениях — надо подумать. А про Офирское царство — жду не от тебя, морда перетякинская, жду от скворца!

Беседа двух интересующихся историей людей протекала в ханадеевской оранжерее. Она и дальше продолжилась в том же абсурдно-велеречивом ключе.

Вавила обламывал головки мака и любовался густым соком стеблей. Перетякин любовался Вавилой. Вдали скучал скворец.



\* \* \*

На третий день пребывания у Вавилы скворец как бы нехотя произнес:

— Офир-р — есть оп-пережающее от-тражение действительности.

— Кто тебя научил, дурак? — взвился Ханадей.

Слова про опережающее отражение упали словно бы откуда-то сверху, царапнули коготком стеклянную дверь и за этой дверью пропали.

— Ты лучше вот что выучи: откаты в России, тире, миф.

— Тир-ре — мифф. Тир-ре — мифф.

— Да не само тире. Тире для наглядности! Ладно, кончили про миф. Выучи так: Четвертый Крым! Авось нам с тобой пригодится.

— Кр-рым — сила Р-россии.

— Ух ты, складно. Это запомню. Только что мы все о политике, птица? Давай песню. Вот про меня в Счетной палате сочинили: «Ханадей, Ханадей пташечка, канареечка жалобно поет! Раз пером, два пером, три пером...»

Царапанье коготком по стеклу возобновилось.

— Кто тут? — по-серьезному взволновался Вавила.

Из-за дверей никто не отвечал. Ханадей подошел на цыпочках.

— Я — от-тклонение Офир-ра... Конец концов близ-зок, петушар-ры!.. — защелкал в спину Вавиле хамоватый скворец.

Не дойдя до дверей, Ханадей вернулся, набросил на скворца футболку № 4. Дверь отворилась сама. На пороге стояла синевласая Дицея.

— Фу-у, Дичка... Ты?

— Как муштра птиц?

— Хуже некуда. Ну его на фиг, этого сквора. Для большого человека хотел несколько штук выучить. Так он, дурак, дрессуры не понимает... А пойдём к тебе на массаж?

— А пойдём.

Скворец склонил голову набок, сделал вид, что заснул.

И свалился за горизонт мысли рыжеватый Вавила, искрошился мир человеческий, терзавший непонятными запахами, но и увлекавший делами и поступками. Налег птичий, ни с чем не сравнимый рваный и путаный сон!

Птичьи сны были на удивление бессюжетны и пустоваты: то земля вдруг делалась блюдцем, и это блюдце опрокидывалось кверху дном. То небо всем своим голубоватым оперением ложилось на землю. Но всякий раз пернатые сны заканчивались одним и тем же: птичьими чертогами, птичьим престолом и птичьим царством.

В царстве птиц людей не было ни души. Были похожие на людей существа, но они не ходили — летали. При этом разговоров не говорили: все время пели. Но, опять-таки, не стихами, а звучной короткой прозой.

\* \* \*

Вечер подступил незаметно. Скворец заговорил снова.

— Пут-тину — р-решпект! Импер-ратрица — в Тавр-рическом! Конец концов — близок! — Как отголосок славы былых времен и перекличка с временами нынешними прозвучали эти неожиданные слова.

Все разом притихли. Первым опомнился Вавила.

— Да накинь ты на этого балабона платок! Кому говорю, Дичка!

Но синевласой Дицей в те минуты в ломберной уже не было.

Игра продолжилась. В ломберной предпочитала буру и сику.

Таксидермист (а по-простому — чучельник) Голев, раздувая ноздри, голосом сушеной воблы трескуче наставлял:

— Ты, Ханадей, не шустри. Сам Дицею отослал, а делаешь вид, что забыл. А отослал ты ее, чтоб в карты не продуть. Я слышал. И правильно, и молоток! А тогда давай мы на твою птичку сыграем. Ты, я вижу, от слов птичьих вздрагиваешь, даже до того дошел, что правителю нашему здоровья и славы пожелать не хочешь. А мы все это бесплатно терпи?

Таксидермист обвел игроков в сику цепким миротворческим взглядом.

— Вот назло тебе крикну: ура и слава! — приподнялся со стула Вавила.

Лысостриженный Пленкин, припомаженный, с женскими, загнутыми кверху ресницами Сучьев — ему вдогон сверкнули улыбками.

— Так ты ставишь скворца на кон или нет?

— Майна религиоза, — заважничал Вавила. — Тут большими деньгами пахнет. Отвечать вам по полной, скоты, придется.

— Пять тонн зеленых — устроит?

— Маловато, но разве уж для почину...

Священную майну выиграл Голев.

В ту же ночь, ближе к утру (подарив выигранную вслед за птицей Дицею назад Ханадею), таксидермист спрашивал скворца:

— Вот сидишь ты здесь, а сам — чепушило и чмошник! Битый час я тебя пытаю. Ни словечка в ответ. А тогда какой тебе смысл вообще существо-

вать? Какой смысл, говорю, тебе живой птицей оставаться? Лучше, уж ты поверь мне, чучелом тебе стать. Выставлю тебя в театре Маяковского, пищик внутрь вставлю, будешь красным клювом клацать, народ коммунизмом суровить. И этим, как его... Офирским царством!

В голове у таксидермиста было — шаром покати. В доме тоже пустовато. Не любил Голев лишнего. Только барсучья шерсть и мороженые лапки, только полированные подставки с каллиграфическими табличками и сладко подванивающие молодым пометом птичьи перья.

— Ну, отвечай, как оно там, в Офире? Говори! Распотрошу вмиг! — Воблистый голос треску поспавил, появились в нем напор и сила.

— Хор-рошо в Офире!

— Значит, это страна такая? Ну, скажи: Офир — дурацкая страна!

— В Офир-ре — душетела!

— Ладно, пускай. Чучелам ведь все равно: что в царстве, что в душетелесном анархо-государстве. Деньги, деньги, главное, там какие? А то окажутся драхмы или гривны, мучайся тогда с ними, как с хохлами.

— Денег — нет-ту.

— Ну, тогда я тебя правильно в красный театр определил. Опять коммуняками пахнуло. Денег нет — счастье сдохло! А за твое чучело я с Вавилы и его слезоточивой Дицеи хорошие бабки сниму. Они будут квакать — я смеяться. Ну и напоследок: тещи в Офире, они какие?

— Нет-ту тещ-щ.

— Быть того не может! Если так — срочно туда! Как проехать?

— Н-нельзя — пр-роехать.

— Дура, бестолочь! Да я завтра же там буду!

— Через тыщщ... Через тыщу лет будешь.

— Врешь, дурошлеп. Не я, так наследники мои скоро там окажутся.

— Не будет наследников. Не будд...

— Да я тебе за них!

Голев хотел ударить скворца, ходившего по краешку стола березовым пеньком, но передумал, накиннул на птицу замшевый пиджак. Пиджак

взбугрило шатром. Таксидермист послушал тишину и пиджак с птицы сдернул.

— Как это: не будет наследников? Отвечай, стервец!

— Нет — л-любви, нет — нас-следства...

— Врешь! Есть же это... как его? Духовное наследство!

— Петушар-ры дух не наслед-д-д...

Воблистый Голев решил дать скворцу передышку. Он и сам подустал чуток. Пустая комната вдруг показалась дурной приметой. Чтобы освежить восприятие жизни, таксидермист сходил в мастерскую, приволок оттуда чучело белой собаки.

— Видишь — чучело? Как раз напротив этой собачки скоро стоять будешь.

Скворец собаки не испугался.

— Чуч-чел — не б-будет.

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Завтра проиграю тебя взад.

— Не проиграешь. Не проигр-ра...

Пиджак из оленьей замши укрыл птицу надолго.

\* \* \*

Вечером офонаревший от птичьих словес Голев понес скворца назад: возвращать с поклоном Ханадею. Борода его красная, борода узкоконечная, с вплетенными в нее прозрачными шариками, при этом резко вздрагивала.

Но скворца по дороге уперли.

Было так: не успел таксидермист выпить рюмку-другую в ресторане Центрального дома литераторов, не успел зажечь спичку на ступенях этого чертога мысли и грез, куда его как творца зверских образов приглашали на бесплатные ужины со знаменитостями, как вдруг, откуда ни возьмись, — цыганка! Да не одна, с выводком ребятенков...

Пока цыганка сорила ужимками и турусила окоlesiцу, клетку со скворцом, мешавшую отмахиваться от этой дуры и поставленную меж ног на ступеньки, кто-то одним пыхом упер.

Продолжение следует.



**Елена САЗАНОВИЧ**

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008—2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».



*«Юность» продолжает развивать новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что продолжают споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.*

*Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем! Всем спасибо за первые отклики!*

## **АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ.** **«ГРОЗА»**

**З**а сорок лет творческой деятельности — около 50 пьес, 728 действующих лиц (не считая эпизодических)! Жизнь в 180 актах пьесы. И пьеса в 63 годах жизни... И всегда в главной роли — Россия. И не дальше. И не больше. Границы России в своем многогранном творчестве он не переходил. И даже в самой России ограничивался Москвой и Приволжьем. Ни юга, ни севера, ни запада, ни востока... Хотя он много раз бывал за границей. Знал прекрасно и Одессу, и Крым. Но остался верен маленькой родине. В ее чистом виде. И нечистом тоже. Которую слишком хорошо знал. И любил...

Александр Николаевич Островский. Великий русский драматург. Впрочем, это не точно: великий русский писатель. Безусловно, Островский и театр — понятия неразделимые. И все же он пошел дальше театра. Потому что есть авторы пьес

(не в обиду сказано), которых читать не так уж интересно. Их пьесы могут быть ценны только на сцене, но не на печатном листе. Островский — из тех редких драматургов, пьесы которого хочется читать и перечитывать. И даже не обязательно идти в театр. Журнал «Современник» просто умолял прислать Островского новую пьесу, так как без нее журнал «погибнет». А Лев Толстой за несколько дней до смерти драматурга сказал: «Я по опыту знаю, как читаются, слушаются и запоминаются твои вещи народом, и потому мне хотелось бы содействовать тому, чтобы ты стал теперь поскорее в действительности тем, что ты есть несомненно — общенародным в самом широком смысле писателем». Он им стал.

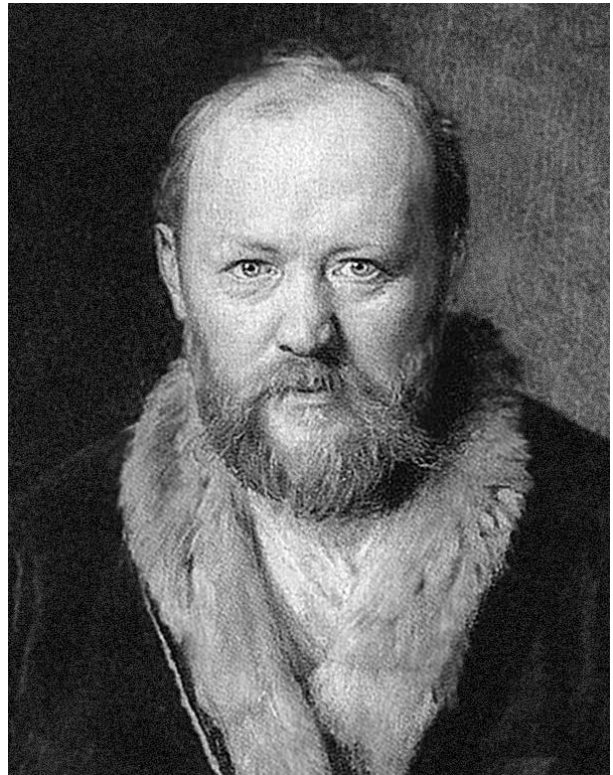
Островский писал о том, что хорошо знал. Он родился в Замоскворечье — купеческом районе Москвы. Поэтому с легкостью мог показать

и купечество в московских трактирах, и барские особняки, и мещанские домишки, и народные гулянья, и людей рынка. Мог запросто провести нас в своих произведениях по Пресне, Александровскому саду, Марьиной роще, Петровскому парку.

Дед драматурга был священником. Отец тоже окончил духовную академию, но священнослужителем не стал. Потому Островский с детства знал, что такое вера, безверие и лжевера... Сам Александр Николаевич некоторое время проработал в суде. И знал, что такое закон, беззаконие и лжезакон. Уехав вместе с известными литераторами в командировку для описания различных мест России, он выбрал для себя Волгу от верховьев до Нижнего Новгорода. Вот откуда в его пьесах эти пристани, провинциальные театры и кофейни. Деревенские избы с резными ставнями. Легкие качели и георгины. Но все это так, декорации. Островский гораздо глубже. И тоньше. Гораздо умнее. За беседками, качелями, ярмарками, георгинами и вокзалами — вон там она, настоящая Россия. С ее самодурством, обманом, крючкотворством, цинизмом. И мы такую Россию уже знаем. В точности как знал и Островский. Впрочем, он из тех редких писателей, которые еще при жизни получили признание.

Островский познал огромную заслуженную славу. Более тридцати лет новые пьесы Островского почти каждый сезон появлялись в московском Малом и петербургском Александринском театрах. Драматург работал в журнале «Современник»... А Иван Гончаров написал: «Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать: “У нас есть свой русский, национальный театр”. Он, по справедливости, должен называться “Театр Островского”...»

И, наверное, нам уже не столь важно знать, сколько унижений, обид, клеветы пришлось пережить великому драматургу! Когда он был под полицейским надзором. Когда его обвиняли в плагиате... Но это все для драматургии его судьбы. Как и для судьбы всех великих. Для нас навсегда, навеки остался Театр Островского. Где темное царство разбивается об один-единственный лучик света. Главное — его разглядеть. Если все 728 персонажей его пьес разместить в зрительном зале Малого театра, то они почти весь его заполнят. Да, они уже не в кокошниках, не в расшитых кафтанах, не с длинными бородами. Но мы обязательно их узнаем. Сегодня. Они непременно появлялись



и в нашей судьбе. Потому что по-прежнему это та же «Семейная картина», где «Свои люди — сочтемся». И среди них будут «Бедная невеста» и «Бесприданница». Даже если они «Без вины виноватые». Ведь «Бедность не порок». Найдутся и «Богатые невесты», и «Волки и овцы». А многие будут претендовать на «Доходное место». Хотя лучше «Не в свои сани не садись». Да и вообще, когда «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». Когда каждый чувствует, что «На бойком месте» наступают «Тяжелые дни». И «Не все коту масленица». А «Бешеные деньги» — это просто «Гроза»... Конечно, в первом ряду непременно будут сидеть Дикой и Кабаниха из волжского городка Калинова. Наглые, бессовестные, деспотичные самодуры. Где-то в уголке примостится их сын Тихон, полностью загипнотизированный родителями, человек без своей воли и своего лица. А далее, затерявшись в темном зале, как в темном царстве, сама Катерина. Единственный «светлый луч в темном царстве»...

«Гроза», пожалуй, — самая совершенная пьеса Островского. Нет, не потому, что язык ярче, богаче описание быта, сложнее фабула или коллизия. У Островского практически все пьесы бесспорны. «Гроза» совершенна в каком-то нелогическом совершенстве чувств. И одновременно в их логическом несовершенстве. За

эту пьесу Островский получит Уваровскую премию. И чуть позднее станет членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Этой пьесе Николай Добролюбов посвятит известную статью «Луч света в темном царстве». На первый взгляд, это пьеса просто о любви. И еще раз о любви. И о смерти из-за любви. Но не только. Это остросоциальная пьеса. Эта пьеса о всемогущей власти диких и кабанов. Которые, даже не объясняя эту власть и право на власть, разрушают жизнь сына. Доводят до гибели его жену. Калечат жизни всех, кто их окружает. Кабаниха словно дрессирует сына. И он легко поддается дрессировке. Катерина сопротивляется. Кабаниха где-то даже понимает, что ее приказы не все могут быть выполнены. Но это не важно. Главное, что она имела право на монолог, на полное послушание и на ответное молчание. Когда главное — признаться в вине, которой нет.

Душный городок Калинов. Сплетницы на лавочках. Лай собак. Скрип ставень. Лениво, скучно. И немного страшно. От этого удушающего мещанства. Словно и нет другой жизни. Словно и нет другой России. Словно она ужалась в границах этого жуткого городка. В которых властвуют самодуры. И все же гроза надвигается. И непременно пошатнется их власть. И они начинают бояться. Хотя Катерина умерла. Но характер, такой живой, такой народный, будет жить среди этой мертвечины. Как и вечный протест против мертвого царства. Среди этой духоты и пыли, которую непременно освежит дождь...

В «Грозе» гармонично, динамично и органично воссоединились социальное и личное. Комичное и трагичное. Драматичное и лиричное. Отсюда всплеск эмоций. И безусловная пластика идеи и идейности. Островский написал «Грозу» задолго до «Анны Карениной». Лев Толстой изначально пытался осудить свою героиню, охваченную стихийной страстью. Но так и не смог. Анну Каренину полюбил читатель. И сам Толстой проникнется к ней симпатией. Островский же изначально оправдывает Катерину. Илюбуется ею. Он винит совсем, совсем других. Может, это теперь и банально звучит — он винит общество. Впрочем, банальность, как правило, и является правдой. Проверенной веками. Хотя выхода для Катерины он не увидит. Но выход есть. Обязательно есть. В темное царство неизбежно, рано или поздно, прорвется луч света. И укажет путь из безысходности... *«Катерина: Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела...»* Люди так и не научились летать. И вряд ли научатся. Разве что во сне. Мы не птицы. И все же. На самом деле в своих мыслях и фантазиях некоторые из нас достигают такой высоты, которой не смогла бы достичь ни одна птица. Запредельной высоты и бесконечной вечности. Такой высоты и вечности достиг Александр Николаевич Островский. Впрочем, как и еще 99 писателей, которые потрясли мир.



**Платон БЕСЕДИН**

Платон Беседин — прозаик, публицист, общественный деятель. Один из самых ярких писателей Крыма. Автор романов «Книга Греха» (2012) и «Учитель. Роман перемен» (2014), сборника рассказов «Ребра» (2014). Колумнист ведущих украинских и российских СМИ («Московский комсомолец», «Известия» и др.). Автор толстых литературных журналов («Дружба народов», «Радуга» и др.). Рассказы переведены на итальянский, английский и немецкий языки.

## ДВА РАССКАЗА

# ПРОВИНЦИАЛИИ

*Рисунок Настасьи Поповой*

### 1.

**С**егодня презентация моей книги в Севастополе. За окном — темно, на дворе — сыкотно, в голове — похмельно. Но ехать придется: пригласили, заплатили гонорар — не откажешься.

Успокаиваю себя бездельем, серфингуя по интернету. Параллельно общаюсь в чате с донецкой поэтессой. У нее два сборника стихов и темные, будто после черепно-мозговой травмы, круги под глазами. Никак не могу запомнить ее имя. Что-то заканчивающееся на «ома». Вроде миомы. Или меланомы. Она и сама въедливая, как раковая опухоль.

Все, хватит букв. Пора ехать.

Сборы красной дорожной сумки под Rolling Stones. Трусы, носки, книги, бутылки, презервативы. Оптимистично. Но не осталось места для вдохновения, а оно в поездах либо дорогое, либо отсутствует. Выкладываю часть одежды и упаковываю две бутылки «Зеленой марки». От любой другой водки меня тошнит.

Долго объясняю таксисту путь к дому. Еще дольше прошу не психовать и ждать меня там, где

он остановился. Бегу к такси в ботинках, полных ледяной жижи. Снег, лежавший два месяца, начал таять. Сверху — прочная корка, но наступи — и провалишься в лужу.

Таксист похож на писателя Дмитрия Быкова. За рулем своего крохотного «Дэу-Матиз», подпирая руль животом, обтянутым клетчатой рубашкой, он выглядит комично, но шутить с ним я не намерен. Сажусь на заднее сиденье, в кипу порнографических журналов.

По дороге на вокзал говорим о рыбалке и Тимошенко. Таксист любит Юлю и карасей в сметане. Мне больше нравится белый амур в клюквенном соусе, а к политикам я равнодушен. Но за рецепт карасей таксист заслужил чаевые.

Вокзал сонный; много бродячих собак в поисках еды, много нетрезвых людей в ожидании выпить. Но проводник в поезде бодрый, матерящийся. Сдаю билет, получаю влажное белье, степлюсь, засыпаю, накрывшись «Маятником Фуко» в мягкой обложке.

Мне снится девушка. У нее лицо поэтессы Омы и ноги блондинки из журнала таксиста. Ноги

отличны, а вот синяки поэтессы чудовищны. Пытаюсь придумать, чем бы закрыть лицо девушки, и просыпаюсь.

## 2.

Нас двое в купе. Я и девушка с книгой. Читающая девушка — это всегда сексуально, но в попутчице не меньше ста килограммов, а в ее руках — «Духлесс» Минаева. Для знакомства нужно отыскать вдохновение. Лезу в рундук, достаю бутылку «Зеленой марки», колбасный сыр. Понимаю, что забыл хлеб.

— У вас есть хлеб? — обращаюсь к любительнице Минаева.

— Нет.

В принципе, если выпить достаточно, то Минаев и килограммы будут не так страшны.

— Не хотите? — предлагаю водки и сыра.

— Нет.

Словарный запас у поклонников Минаева не богат. Впрочем, мне с ней не разговаривать. Был бы на моем месте Генри Миллер, все уже случилось бы. Но я не Миллер. Поэтому придется сначала разговаривать.

После нескольких стопок мне удается соорудить неплохой монолог о постмодернизме, но девушка, не дослушав, выходит в Запорожье.

Дальше еду один. Ничего не остается, кроме как пить, а после постараться блевануть в туалете. Вспоминаю, что меня уже тошнило в этом поезде, но вот не помню, было ли это в шестом вагоне. Точно помню, что было в четвертом и тринадцатом.

## 3.

Поезд опаздывает на полтора часа. В Севастополе сыро, ветрено — как всегда зимой в этом городе. По перрону ходят старушка с табличкой «Жилье» и милиционер с хмурым испитым таблом.

Меня встречает невысокая, полная — в школе звал таких пончиками — девушка в сиреновом плаще. Представляется Аленой. Улыбается (зубы неровные, мелкие), интересуется, как доехал. Щечки у нее пухлые, с ямочками от улыбки.

Едем на презентацию в информационный супермаркет «Колизей». Времени на гостиницу, душ, кофе нет. В салоне «девятки» воняет тошнотворными женскими сигаретами: будто копечные ароматические палочки жгли. Алена рассказывает о Севастополе, хотя он за окном: есть возможность оценить самому. Тем более она путает Ушакова с Нахимовым.

— Как «Колизей»? — перебиваю Алену, не в силах слушать ее путанные истории.

— Замечательное место. Два этажа, живая сцена...

В Севастополе бываю примерно раз в год. С каждым приездом город меняется. Деревьев и клумб становится меньше, стекла и бетона — больше. Торговые центры, похожие на вздутые брюхи крабов, давят одиноко торчащие хрущевки и сталинки; те стоят пыльными, чумазыми беспризорниками.

Много билбордов. Через каждые полметра они надоедливо, точно консультанты «Орифлейм», лезут с бессмысленной информацией. Элитная стоматология, криогенное омоложение, паркетные полы, автономное отопление, пивные фестивали, диджейские батлы. В этом информационном болоте вязнешь, тонешь, устаешь, умираешь.

## 4.

«Колизей» — весь в желтых цветах, похожий на подсолнух, переполненный семечками-людьми, — находится на втором этаже комплекса «Муссон». Алена сообщает, что это самый большой торговый центр в Крыму. Да, есть чем гордиться, улыбаюсь я.

Раньше здесь был крупнейший в СССР радиотехнический завод. Но в девяностых цеха опустели, заказы пропали. Сотрудники торговали электроникой и сантехникой на рынке «Чайка», организованном вместо футбольного стадиона. И вдруг заводу удалось получить большой заказ из России. Вернулись люди, воскресили производство. Но тут появились ребята из украинских госструктур. Объяснили, что дружить с россиянами не стоит. Заказ пришлось отменить, а через несколько лет на месте завода появился торговый центр «Муссон».

В «Колизее» нас встречает крепыш с бритой головой.

— Дмитрий, пиар-менеджер. Буду вести вашу презентацию, Юрий. Рад нашему знакомству. Как доехали? — тынет руку.

— С опозданием, — киваю в ответ.

Алена исчезает, оставляя меня с Дмитрием. По дороге в примерку он на ходу уточняет детали.

— Вы хотели бы услышать определенные вопросы? Можно включить их в блок вопросов из интернета.

— Такие есть?

— Пока нет, — улыбается Дмитрий, — но можно подготовить.

— Тогда спросите, откуда я знаком с Мишелем Уэльбеком.

— А вы знакомы?

— Нет, но ведь и вопросы ненастоящие.

Дмитрий не для моих симпатий. Слишком вежлив. На все отвечает улыбкой. Ее и дежурной не назовешь — вполне искренняя.

— Когда начинаем? Мне надо переодеться.

— Предлагаю начать через полчаса, с небольшим опозданием. Чай, кофе?

— Кофе. Чуть позже.

## 5.

В сумке — «Зеленая марка», но перед презентацией — только коньяк. Иначе интерес к происходящему равен нулю. В здании «Муссона» нахожу продуктовый супермаркет «Фуршет». Покупаю коньяк «Ай-Петри» и литр колы. Устроив тару на сливном бачке, выпиваю в туалете торгового центра.

Возвращаюсь в «Колизей» обнадеженный. До улыбки Дмитрия мне еще далеко, но уголки губ уже смотрят вверх.

В зале сидят, зевают, беседуют люди. Те, кому не хватило мест, стоят, опершись на перила. Пересчитываю: примерно сорок человек, пришедших на мою презентацию. Есть и бонус — эффектная брюнетка в первом ряду.

Разомлев, вальяжно иду через зал. Меня перехватывает Алена. Проводит за пластиковый грибок столика. Подает кофе и бутерброды.

Ем быстро, хочу успеть допить коньяк с колой. В гримерке накидываю дежурный черный пиджак, выпиваю, иду в зал.

В кресле рядом с Дмитрием жарче, чем в зале; коньяк распаривает, просится наружу, выступая каплями на пылающей коже. Стараюсь выглядеть уверенно, но нервирует жир, переваливающийся через ремень. Дмитрий двумя пальцами приближает микрофон:

— Юрий Каменин, дамы и господа.

Зрители лениво аплодируют. Во втором ряду шепчутся две блондинки. Это не бонус, как брюнетка в первом ряду, но если продолжить пить «Ай-Петри», то горизонтальное положение (или как им нравится?) желаемо.

Моя биография в интерпретации Дмитрия вызывает уважение. Следом вопросы из интернета с перерывами на чтение прозы. Отвечаю подробно, с интересом. Читаю медленно, с расстановкой. Очень хочется пить; вытряхиваю капли из опустевшего стакана.

Несколько вопросов из зала.

— Есть ли литературная среда в Севастополе?

Алена приносит новый стакан воды. Отвечаю:

— Безусловно, есть. Издаются газеты, журнал, альманах. Проходят встречи, презентации, чтения. Проблема в том, что об этом никто не знает. Прежде всего потому, что среда сама не допускает посторонних. Читателям не до писателей, но и писателям не до читателей.

Слова акупунктурой попадают в нужные точки. Собралось много людей пишущих, теперь — их выход.

Первой, как надувшаяся жаба, возмущается крупная дама в зеленом платье:

— Да как вы смеете хаять наш город? У нас проходят вечера, встречи. Недавно книжку об адмирале Нахимове презентовали...

— Кому она нужна, ваша книжка? — выкрик из зала.

— Как это кому? Людям! А кому его, — она тычет длинным ногтем в меня, — бездарные опусы нужны? Таким дерьмом все прилавки завалены! А у нас, у нас отлично развитая сеть библиотек!

— Не пробиться — все места заняты, — смех в зале.

— Не парьте репу, — вскакивает лысый мужик в джинсовом костюме. — Черкашин был из последних, дальше все — не урожай...

— Как это не урожай? — вскакивает бледная рыжая женщина. — А сколько у нас замечательных поэтов? Борсук, Губанов, Трушкин, Бурундуков...

— Графоман ваш Бурундуков! — кричит бородач с борсеткой.

Дмитрий, все еще улыбаясь, успокаивает зрителей. Больше всех суетятся бородач, ненавистник Бурундукова, и рыжая, его защитница. Кто такой Бурундуков, я не знаю.

Наконец рыжая не выдерживает — отвешивает бородачу пощечину. Тот рефлекторно отталкивает обидчицу. Мужик в джинсе заступается. Начинается драка. Привлеченные шумом, подтягиваются случайные зрители с первого этажа. Два охранника вместе с Дмитрием разбирают дерущихся. Я говорю в микрофон:

— Теперь вы понимаете, почему мой роман называется «Молот ведьм»?

Смех в зале. Бородача уводят. Рыжая уходит сама, напоследок плюнув мне в «кабанье рыло». Минус: два человека. Плюс: два десятка. Дмитрий объявляет:

— Сейчас вы можете приобрести книги Юрия Каменина с автографом автора.



## 6.

Людей, покупающих книги, меньше, чем в очереди. В основном просят, требуют подарить. Извините, только продажа. Не понимают. Повторяю — обижаются.

Вот и две блондинки. Эти покупают. Я им — подписанные книги, они мне — флаер. На нем черным маркером выведен номер телефона.

— Позвоните нам, Юрий.

Приятно, а главное, придает уверенности. Это важно, потому что следующей автограф просит брюнетка. Вблизи она воплощение страсти.

— Кому?

— Жанне. — У нее томный голос.

Если бы я был рок-звездой, то, возможно, она бы попросила меня расписаться у нее на груди. Почему я стал писателем, а не рок-звездой? Наверное, у меня было не так много друзей.

— Извините, но подписывать книгу просто Жанне — бесчувственно. Мы могли бы познакомиться. Например, вечером.

— Я замужем.

Нет, мне нельзя отказать после коньяка с колой. Можно после пива, вина, водки, но не после коньяка. На серой визитке брюнетки золотым тиснением выбито: «Жанна Крицкая, свадебный салон "Жанна"».

После автограф-сессии самые терпеливые идут в атаку. Рыхлая женщина с мордой бассета рассказывает об альманахе «Маринист», нахлещенная тетка с шиньоном просит подарить книги в школьную библиотеку, но решительнее всех поступает крупная холмообразная дама: она берет меня за локоть и отводит в сторону.

— Юрий, — начинает она, бешено вращая глазами и потрясая бумажной папкой с трафаретными буквами «Дело», — позвольте представиться. Ленина Александровна, секретарь общества Крапивина. Мы встречаемся по средам и пятницам...

Дальше она, не отпуская локтя, шепелявит о Толстом, Пушкине, обществе Крапивина, газете «Севастопольский листок». Меня мутит от жары, коньяка и бешеного вращения глаз.

— Чем могу быть полезен? — не выдерживаю я.

— Я секретарь общества Крапивина...

— Что вам от меня надо?

Наконец у нее вызревает просьба:

— Мы бы хотели получить ваши книги в подарок.

— Извините, но из книг только те, что можно купить в магазине.

— Но мы...

Реверс, и снова история общества Крапивина.  
— Юрий, вас ждут. — На этот раз улыбка Дмитрия кажется мне благословением.

Извиняюсь перед Лениной Александровной. Прошу оставить мне контактную информацию. Обещаю ей и себе переслать книги.

— В гостиницу? — улыбается Дмитрий.

— Как насчет отметить презентацию?

— Я не пью, но если хотите, можем заехать в кафе.

Со своей бритой головой и неизменной улыбкой он похож на Будду. Может быть, в наше время элементарная вежливость выглядит как просветление.

Но сидеть в кафе с ним, напиваясь коньяком в одиночку, бессмысленно.

## 7.

Гостиница называется «Аллигатор». Восемьсот метров до моря. Трехэтажное здание, увитое пыльной зеленью. Кованые ворота, по бокам которых — пара неубедительных клумб. Интерьер офисный: перегородки из бледно-розового гипсокартона, на стенах — картины «все от 15 грн.», в углу — серый кулер HotFrost. За черной, под дерево стойкой гесертion улыбается высокая блондинка с похожими на лапшу быстрого приготовления кудрями. Форма одежды школьная: белый верх — черный низ.

— У нас забронирован номер на имя Юрия Камина.

Блондинка смотрит в ноутбук. На ее беджике, приколотом к белой блузке, значится: «Настя, ресепшионистка».

— Номер двадцать три, второй этаж.

— Дальше я сам, Дмитрий. Спасибо.

— Хорошо, во сколько у вас поезд? Отвезу вас на вокзал.

— В полдесятого утра.

— Тогда в восемь буду у вас.

— Спасибо.

Мы прощаемся за руку.

Поднимаюсь в номер. Налево — тесная ванная комната: унитаз и душевая с ржавыми разводами, резиновый коврик с изображением полосатых рыб. Прямо — светлая гостиная: просторная кровать (хорошо бы пригласить сюда Жанну), покосившийся стол с выдвигаемыми шухлядами и телевизор из тех, что обычно используют в рейсовых автобусах.

Разбираю сумку. Сначала водку в холодильник, потом ноутбук и пиво на стол. Никаких соцсетей — только почта.

Три письма в Gmail. Первое — от Алика Добрина, писателя и редактора. Лично мы незнакомы, но мне нравится, как он пишет. Просил его о рецензии на «Молот ведьм».

Алик Добрин [dobrin@mail.ru](mailto:dobrin@mail.ru) кому: мне Показать детали 12.02.2013

Дорогой Юрий! Рад получить от Вас письмо.

Конечно, я бы написал рецензию на Ваш последний роман, но написание рецензии требует времени и сил.

К тому же у меня проблемы, связанные с зарплатой, с которой тянут в издательстве вот уже второй месяц. Честно говоря, не на что купить утренний круассан и выпить рюмку коньяка.

На вечерний еще удастся кое-как наскрести, а вот на утренний — нет. Может, одолжите мне, как человек милосердный, 500 долларов до зарплаты?

Искренне Ваш, Алик

Второе письмо от Александра Воробьева, московского писателя с приличными тиражами. Он отвечает не мне, а Ольге Зайцевой, бывшему литературному представителю Юрия Каменина.

Alex Vorobey [radio666@gmail.ru](mailto:radio666@gmail.ru) кому: мне Показать детали 12.02.2013

Ольга! Начал читать книгу вашего подопечного Юрия. Буду откровенен — читал только из уважения к Вам. Но даже моего уважения не хватило, чтобы дочитать. Уж простите, Оленька!

И вроде бы линия есть, да и фигура выбрана любопытная, но поймите — есть еще такая вещь как талант. Понимаете? Т-А-Л-А-Н-Т...

Послушайте моего совета — бегите от Юрия! Пока не поздно. К тридцати пяти он поймет, что никакой он не гений и даже не талант, а так, еще один убогий графоман, и тогда у него начнутся жуткие истерики, депрессии. Зачем оно вам надо?! Бегите от него. Пока не поздно.

А.

З.Ы. Будете в Москве — набирайте, встретимся.

Эх, Саша, Саша, эх ты, сукин сын! После двух таких опусов третье письмо, от критика Любарского, можно читать, лишь серьезно увлекшись развлечением в духе фон Захер-Мазоха. Но, похоже, мне и правда, надо перечитать «Венеру в мехах». В письме — ссылка на рецензию от Любарского.

«Неудачливый инквизитор», о романе Юрия Каменина «Молот ведьм».

...тотальный кошмар в трех частях с прологом и эпилогом...

...среди многочисленных недостатков книги выделяются жуткие языковые небрежности...

...вряд ли получится разобраться в той расписной матрешке, которую представляет собой череда жертв, но в этом вовсе нет нужды: все они — отражения, тени и двойники...

...социальная сатира поверхностна и неоригинальна...

...все понятно, перед нами типичный образчик маргинальной литературы для горстки сектантов...

Читать дальше — яростью захлебнуться. Успокоиться, надо успокоиться! Лучше всего — серфингуя по интернету.

Новости на [ukr.net](http://ukr.net): объявлен короткий список «Русской премии». Точно, сегодня, как же я мог забыть?

Номинация «Крупная проза», шорт-лист: Алешковский (США), Рафаенко (Украина), Птицина (Украина), Катишонок (США), Соколов (Канада).

А я? Где же я? Почему нет меня? И кто такая Птицина?

Гуглю. Ада Птицина. В девятнадцать лет — публикация в «Новом мире». В двадцать — лауреат премии «Дебют». В двадцать три года — первая, всего четыре, книга, вышедшая в АСТ.

Ненавижу все твои книги и премии, Ада! Тебя ненавижу! Выскачка! Бездарность!

Тебе двадцать семь, и почти слава, а мне тридцать три, и мне одиноко. Три романа в маргинальных издательствах. Не женат, бездетен. Живу на фриланс. И водки почти не осталось.

Нет, хватит литературы! Это все из-за нее, все эти нервы! Чертов писатель! Чертова литература! Выключить ноутбук, забыть, отвлечься! Заняться чем-то земным!

Точно! У меня же есть телефоны тех двух блондинок. Ощупываю карманы пиджака. Вот он, флаер с номером.

— Да?

— Добрый вечер! Это Юрий Каменин.

— Да, да...

— Вы просили позвонить.

— Да, да...

Впечатление, будто у нее что-то во рту.

— Собственно, вот я звоню. Мы могли бы встретиться сегодня?

— Втроем или вдвоем? — перестает жевать.

— Не понял.

— Вы хотели бы заказать двоих или одну?

— В смысле?



— В смысле — услуги. Одна: час — триста гривен. Две: час — пятьсот гривен.

Наконец я понимаю:

— Перезвоню...

— Да, да. — Ее рот вновь чем-то заполняется.

Ничего, плевать — есть брюнетка Жанна. Надо только взять вдохновение, а после назначить ей встречу.

## 8.

Парк Победы, где находится гостиница «Аллигатор», занимает несколько гектаров зеленых насаждений от жилых домов до галечного пляжа. Море здесь открытое, чистое. Летом много отдыхающих, обгоревших и пьяных, и еще больше местных, продающих чебуреки и пахлаву. В незалежной Украине Парк Победы превратился в заброшенную лесополосу, среду обитания люмпенов Гагаринского района, поделивших территорию между собой: наркоманам достался лес, бомзам — дзоты, оставшиеся со Второй обороны Севастополя.

В середине девяностых Парк Победы наводнили «черные археологи», искавшие ордена, медали, оружие, и самозахватчики, строившие бары, генделики, кафе. Но постепенно все они ушли, оставив развалины среди крымских сосен.

Возрождение Парка началось с установки, по инициативе Лужкова, памятника Георгию Победоносцу — длинной мраморной стелы с окончанием в виде всадника, пронзающего Змея. Затем понадобилось еще несколько лет, чтобы зажечь фонари, установить скамейки и выложить краснобелой плиткой — ей тогда выкладывали весь Севастополь — дорожки.

Вместо заброшенной лесополосы парк превратился в мечту московских застройщиков. Начали с аквапарка и гостиницы. Теперь строят жилые дома, отели, развлекательные центры.

Февральским вечером в Парке Победы никого нет. Стемнело. Иду среди кипарисов по плиточным сотам дорожек. Много фонарей, но мало горящих. Несколько неработающих палаток, затянутых тентами с рекламой пива.

У моря на скамейках, обнявшись, сидят парочки в дурых куртках. Летние кафе превратились в пустующие остовы. Вход на пирс закрыт ржавой решеткой. Обглоданным скелетом он нависает над морем, зияя пустотами между железобетонными ребрами.

Зато есть работающий магазин. Беру водку, шампанское для Жанны, колбасную нарезку, томатный сок, шоколад, печенье и сыр. Складываю все это в желтый пакет Lipton.

Спускаюсь к морю. Ноги скользят по отшлифованной волнами и временем гальке. Море тем-

ное, цельное, точно глаза дьявола в американских фильмах. Располагаюсь на остатках топчана. Пишу сообщение Жанне с предложением встретиться. Первый раз за сегодняшний день пью размеренно, с наслаждением. Небо бескрайнее, единое, вечное. Кажется, в Ведах сказано, что природа — первое проявление Бога. Значит, это свидание с Ним. Не повторить.

Вибрирует «Сатисфакцией» «роллингов» телефон. На бледном экране — черные буквы: «Привет начала читать твою книгу не понимаю зачем писать такое встретиться не хочу. Жанна».

Говорят, что вода забирает все проблемы и неприятности. Море — в нем растворятся горечь, разочарование, страх. Кричать, орать, вопить, кормя эту огромную движущуюся массу, отдавать ей свою боль и получать нового себя взамен, дрожа то ли от холода, то ли от одиночества; наделенный тысячей прав, но лишенный права жаловаться.

## 9.

Центральный вход в гостиницу закрыт, поэтому захожу в боковые двери. Настя-ресепшионистка клацает по клавиатуре.

— Много работы? — Выпитое на берегу делает разговорчивым.

— Не особо, — отрывается от ноутбука. — Сейчас не сезон, из постояльцев — вы и еще одна пара.

Ты коммуникабельная, Настя, спасибо. Сегодня так хочется слушать простые, слишком человеческие вещи.

— Может быть, составите мне компанию? А то что-то не спится. У меня есть шампанское.

— Честно сказать, — улыбается Настя, — от шампанского у меня болит голова.

— Может, водки? — почти с мольбой.

— Ну, если чуть-чуть...

Две рюмки, закуска, водка на журнальном столике. Пугливый звон чокающихся рюмок.

Как же я завидую тебе, Настя! Что можешь вот так просто сидеть и болтать о сериалах и фильмах, о Тимошенко и Киркорове, путать Бунина с Букиным — и жить нормально. А я размышляю, ищу, терзаюсь, в тысячный раз подтверждая мудрость Екклесиаста. Чтобы объяснить, понять, дать описание и наконец убедить себя в том, что жизнь проста и доступна. Но ты, Настя, и так это знаешь.

— А я читала ваш роман, — вдруг говоришь ты, и глаза с поволокой.

— Правда?

— Прекрасно написано.

Люблю тебя, Настя, предан тебе, словно собака, которую только что погладили по холке. За такие слова в мой адрес — на брудершафт.

А дальше — целовать потрескавшиеся губы, сосать шершавый язык, трогать упругую грудь. Снимать блузку, бюстгальтер. Тело белое, ноги в брюках черные — форма соблюдена. Настя, ты лучше, быстрее, чем я ожидал.

— Хочу сделать тебе массаж...

Раздеваю до трусиков. Укладываю на черный кожзам дивана. Растираю пьяными медленными движениями. Ищу оазис и нахожу.

Но почему перед глазами буквы, слова, предложения? Знаю их, видел, читал. Отрывки из рецензии Любарского. Не думать, пить больше водки!

А Настя переворачивается на спину, раздвигает ноги, тянет к себе. Стонет, дышит, пульсирует. Играет с собой, как с фитилем свечи, теребя, обжигаясь пальцами. Улыбаясь, отнимает мою руку, просит большего, будто разохотившаяся невеста. Притягивает, целует в лицо, шею, спускается, ищет губами, ниже, ниже.

...все понятно, перед нами типичный образчик маргинальной литературы для горстки сектантов...

Любарский, ты изуродовал мою жизнь! Как изуродовал Латунский жизнь Мастера. У него была любовь, а у меня могла бы быть. Сейчас это интрижка, мелкая, невнятная, но кто знает, какой страстью она могла бы налиться после.

Не слушай меня, Настенька! Я смогу, несмотря на Любарского! Только не отрывайся, пожалуйста! И неважно, что губы потрескавшиеся, неважно, что язык шершавый. Еще чуть-чуть, получится, знаю. А пока, как в том анекдоте, пальцами.

— Уже поздно...

Ты ли это, Настя? Или злой демон Любарский? Лицо — все в красных пятнах, крупных порках, с алыми швами губ — равнодушно. Так не выглядит спасение. Ты отвратительна, Настя! Убери руки от водки, пей шампанское, хотя нет — лучше дай его мне!

Оставить все! Бежать из этого города-героя, в котором я не герой! Прощай, Настя, вызови мне такси. Да, черт возьми, вызови мне такси! А я — собираться в номер. Вперед и вверх на севших батареях, а на деле — ползком по ступенькам.

Не отпускает проклятый город!

Добраться до ванной, не стошнить на ковер. А, черт, ладно! Завтра новый день. Уберут. Станет чисто. А пока спать.

Доползти до кровати. Или нет — лучше здесь спать. На этом грязном липком полу.

## ЧЕРНО-БЕЛЫЙ

**Ч**ерно-белое объявление на деревянном заборе. Забор кособокий, в мелких щепках: тронь — получишь занозу. Объявление грязное, вспухшее, в желтых разводах. Прочтешь — запачкаешься.

Забор и объявление — на автобусной остановке. Ржавый указатель с остатками расписания. Хотя указатель и ни к чему — все и так знают.

На остановке оказываюсь случайно. Обычно ходил пешком: всего двадцать минут до станции метро. Но этой ночью тупой болью пульсировала сломанная нога. Решил побереечь, не напрягать. Да и похмелье выдалось тяжелое, всевластное. Из тех, что, по Хуану Басу, полностью отключает и сознание, и волю, и тело.

После развода легким оно не бывает. Полгода живу один, снимаю комнату в многоквартирном доме в дачном секторе Киева. Рядом Днепр, рядом природа. Толпы отдыхающих, мусор. Мусором завалено все. Отдыхающие аккуратно складывают его вдоль заборов, словно в тетрис играют.

Почти каждое утро начинаю со стакана белого крымского портвейна — лучшее лекарство от похмелья. С вечера прячу его в шкаф. Потом пара сигарет, красный «Голуаз», и холодный душ в пожелтевшей ванне. Если организм примет, то немного дешевого кофе «Галка» и пара вареных яиц. Сковородки остались в квартире у жены на улице Горького.

Сегодня утром кофе и яйца организм не принимает. Да и портвейн был спрятан ненадежно — с рассветом ничего не осталось. В такие моменты, когда желудок — бидон с желчью, главное — занять себя чем-то. Стою, читаю объявление.

Под фото белобрысого парня с квадратной головой — неотформатированный текст, расплывающийся, как брюки на заднице толстяка: «Житель Киева Антон Бондарь убил и замучил более 150 собак. Издевательства и пытки он записывал на видео и выкладывал в интернет. Бондарь жестоко мучил животных. Живодер отделался штрафом. Он на свободе. Подонки не должны остаться безнаказанными!»

Подъехавшая маршрутка не дает дочитать объявление. Прыгаю в желтый «Богдан», еду.

У метро висит еще одно черно-белое объявление с Бондарем. Дородная женщина в форме срывает его со стены.

В полупустом вагоне достаю «Собачий год» Гюнтера Грасса, но читать не в силах. Мысли о

замученных Бондарем животных вытесняют все другое.

На работе первым делом лезу в интернет. Видео, снятое Бондарем, легко найти на YouTube. Двигаю бегунок. Смотреть секунда за секундой невыносимо, а оторваться не в силах. Качество плохое, но рассмотреть происходящее можно. Похоже на японский фильм ужасов — с конфетти внутренностей и фонтанами крови. Иногда мелькает квадратная голова Бондаря.

Закрываю окно браузера. После увиденного сосиски на столе — бледно-розовые, с ярко-красными аллергическими точками — вызывают позыв к рвоте. Судорожным неврастеническим движением прячу тарелку в ящик стола.

У меня с животными не сложилось. И жена, и родители всегда были против. Только в младших классах у меня была собака.

Я нашел Лорда щенком в развалинах старой школы, за домом. Положил в пакет и принес домой. Щенок был вислоухий, пушистый, серого окраса. Я вывалил его на красный коврик в коридоре, и он, не шевелясь, лежал на нем под сумрачными взглядами родителей. Мама ахнула и закричала:

— У него чумка! Зачем ты его притащил?

Хорошо, что вступился папа:

— Да он просто боится...

Папа оказался прав. Вскоре щенок освоился, написал на ковер и принялся исследовать квартиру. Но дома держать его было негде. Мы отнесли Лорда на дачу, благо она была рядом, и заперли в деревянном домике, чтобы не убежал. Он сидел там, воя и скуля так, что соседи попросили нас не терзать животное.

Мы выпустили Лорда на свободу. Он самозабвенно носился по даче, ломал папины помидоры и мамины цветы, норовя поиграть с соседями, собаками, кошками, козами и даже автомобилями.

Но зимой Лорда пришлось увезти в деревню. В деревне он отъелся, вырос до размеров небольшого теленка, а вот привычки у него остались щенячьи.

А потом Лорд пропал. Одни говорили, что видели, как татарин Аслан поймал его и пустил на мясо. Татары продавали свежаванные туши собак вместо бараньих. Другие рассказывали, что Лорда убили родители детей, на которых он прыгал, играясь.

Воспоминания о Лорде накладываются на увиденное видео, и я, чтобы успокоиться, хожу по кабинету. Наконец принимаю волевое решение: сажусь за стол, загружаю AutoCad. Шевелю мышкой, разводя плату контроллера, всматриваюсь в мерцающий экран. Все как всегда, но лишь со стороны; внутри похмельная желчь, смешанная с ненавистью к Бондарю.

Так хочется начать день заново.

Закрываю кабинет, по прокуренной лестнице с оранжевыми — директор выбрал этот цвет в честь революции на Майдане — перилами спускаюсь в цех. Люди в цеху вялые, недвижимые, забронзовевшие от винно-водочного загара. Спрашиваю Филиппыча.

Он идет медленно, натужно, шаркающей раскоряченной походкой, доставшейся ему после автотрагедии. Кажется, вот-вот завалится, но добирается и даже улыбается. Улыбка у него легкая, светлая.

— Мне бы филипповки, — говорю я.

Заходим в подсобку. Пахнет жженой канифолью, запах терпкий, пьянящий. Филиппыч откидывает картонные ящики, сваленные в углу. Под ними — пузатая десятилитровая бутылка. В таких мой дед держал самогон. В бутылке — филипповка, прозванная так в честь создателя. Пахнет она как спиртовая настойка боярышника с примесью ацетона.

Филиппыч достает из кармана робы два складных стаканчика, открывает бутылку.

— Сколько тебе?

— Стакан.

— Много будет.

Наливает себе и мне по полстакана. Достает бутылку сидра. Доливает в стаканы, протягивает мне.

— Ну, будем!

Опрокидываю в себя филипповку. Жжет и дерет горло. Но хуже запах, который заполняет все пространство вокруг. Лучше не дышать, лучше не двигаться. Филиппыч занюхивает рукавом, улыбается:

— Легче?

— Вроде как, — наконец пускаю я в легкие воздух.

После филипповки надо хорошо закусить, иначе разъест желудок. В буфете косоглазая Людка раскладывает пасьянс. Увидев меня, морщится:

— Закрыто.

— Да ладно, не кукусь, жрать хочется.

Она ухмыляется:

— Тяжело без бабы-то?

— Что с ней не жрал, что без нее.

— Жениться с умом надо было.

— Наверное.

— Короче, чего тебе?

За стеклом витрины только черные, канцерогенные пирожки.

— С чем они?

— С ливером, а больше ничего нет.

— Давай три, — вытаскиваю деньги. — И бутылку пива.

— Алкоголь не продаем.

— Ладно тебе...

Она хмурится, но лезет под стол, выставляет «Оболонь светлое». Пирожки заворачивает в газету «Факты», в лист, где фигурная модель в нижнем белье соседствует с гороскопом и кроссвордом.

— Давай, топай, — говорит Людка.

В рабочем кабинете пусто и душно. Теплый ветер гонит в распахнутое окно пыль с улицы. Достая сигареты, курю, глядя, как два толстых мужика в синих комбинезонах прут огромный деревянный барабан с кабелем. Барабан катится медленно, вяло, толстяки матерятся и винят друг друга.

Работать сегодня невозможно.

Вдоль позвоночника липкой сороконожкой ползет страх, тихий, настойчивый, беспощадный. Ощущение, словно я участник проекта «За стеклом» — первое и единственное реалити-шоу, которое я смотрел, — и на самом деле стены моего кабинета прозрачные, а за ними перекошенные издевкой рожки злобных божков.

Господи, да что со мной? Бежать отсюда на воздух, на ветер, прочь дурь из головы!

Звоню друзьям, Сане и Жуку. Хочу встретиться. И так спастись от обреченности дня. Удача! Первый на работе, но готов свалить, потому что хочет опохмелиться, а второй по обыкновению — его содержит жена — валяется дома и смотрит канал Discovery.

Встреча в четыре, а пока сидеть и жевать пирожки с привкусом прогорклого масла. Это привкус моей жизни: младшие классы, средние, старшие, институт, завод.

С газеты, в которую были завернуты пирожки, улыбается Нивес Цельсиус. Небольшой текст под фото гласит, что это — известная хорватская фотомодель, жена футболиста Дино Дрпича, знаменитая своими эксцентричными выходками: в частности, после победного матча с англичанами она выбежала на поле и на глазах у зрителей занялась сексом с мужем.

Вообще, если стереть грим, которого хватит на трех Мэнсонов, Цельсиус довольно страшная.

Потому, наверное, и развязная. Голова у Цельсуса квадратная, как у Бондаря.

Бондарь! Это слово выплывает из океана сознания, подернутого дымкой филипповки, и уже не уходит.

Саня и Жук опаздывают на полчаса. Жду их у входа в метро, занимая себя изучением места, где мы договорились выпить.

Выбранный генделик большой черепахой застыл рядом с метро, достаточно спуститься по ступенькам. Слепленный из, казалось бы, несовместимых элементов — входных дверей с торчащими ручками, листов шифера, перетянутых колючей проволокой, кусков рваного линолеума, мятого ободранного профнастила, баннерных плакатов мобильных операторов, — он напоминает лапу динозавра, пришитую к собаке.

Территория генделика огорожена ржавой рабцией, в которую — видимо, для украинского колорита — вплели разноцветные ленточки. На огромной кривой вывеске аляповатыми неровными буквами выведено: «Кафе Party Zone. Украинская кухня. Дискотека. Банкеты. Бизнес-ланчи». Если грех — все хорошее, сделанное не вовремя и не к месту, а зло — уродство, диссонирующее с гармонией мира, то ад — это генделик Party Zone.

Ребята появляются возбужденные, шумные. Жук — тощий, высохший, невзрачный, как сушеный бычок, а Саня, наоборот, — пузатый, оплывший, темно-коричневый, похож на прикопченного леща.

Делаем заказ. К пиву Жук берет леща, а Саня — бычков. Я беру на всех литр водки. Пьем почти молча, прерываясь только на короткие тосты вроде «за нас» или на комментарии относительно проходящих девушек. Саня любит бойких толстушек, Жук — манерных блондинок. Мне все равно. После развода все они — стройные и толстые, красивые и страшные, скромные и вульгарные — вызывают лишь непонимание, которым был пропитан мой брак. Но, возможно, Саня и Жук правы. И девушки — не только боль, но и анестезия.

— Еще бутылку! — кричу я.

Официантка — тощая блондинка с костлявым, как у стерляди, носом — приносит бутылку водки, запотевшую, с изморозью. Саня разливает, нельзя менять руку. Первую, вторую без перерыва, а потом шлифовать пивом. Чтобы накрыло, укутало теплым одеялом в холодную ночь.

После выпитого либидо работает как поисковик. И первая ссылка — влюбательная девушка,

перетянутая лоскутами бирюзового платья. Она улыбается, мол, хочу к вам подсесть. Я согласно киваю.

Саша и Жук не против. Просят у официантки стакан, наливают блондинке водки. Она пьет так жадно, что я вспоминаю, как месяц назад ехал в поезде с дембелями. Выпивает, просит еще, после начинает болтать вздор.

Остановить ее невозможно. Она переключается на живодера, который мучил собак.

— Объяву типа повесили, — лезет в драную сумочку.

На белом пластике стола — утреннее черно-белое объявление. С него смотрит Бондарь, и я ненавижу его. Зубы во рту девушки пляшут сатанинский танец, и она говорит:

— Мудак этот тут обитает. — Официантка приносит водку. — На Садовой, двенадцать...

Буквы и цифры оттисками увековечиваются в мозгу. Прочь из моей головы, прочь!

Выговорившись, девушка начинает скучать. Но тут, похоже, видит знакомого, вскакивает, уходит, оставляя нас с мыслями о Бондаре.

Саня сминая объявление коричневой пятерней, цедит:

— Сука этот Бондарь! Убивать таких пидоров надо!

Тут меня прорывает краном, который никак не почишь. Говорю об ужасах с YouTube. Кричу о собачьих головах, размозженных о стенку. Пищу о глазах, выколотых спицами. Хриплю о лапах с вырванными плоскогубцами когтями.

И алкаю справедливости.

Садовая, 12, действительно рядом. На расстоянии одного рассказа Сани о том, как его брат мучил в детстве животных.

Дом обшит белым пластиком. В свете большой круглой луны он почти фосфоресцирует. Мы у ворот. Лает собака. Ее Бондарь, видимо, пощадил. Но лай вялый, пугливый, по обязательству. Да и собака дохлая, ребристая; экспонат в палеонтологическом музее. Хлипкая калитка заперта на ржавый крючок, и петли тоже ржавые. Вообще все тут дряхлое, умирающее. Возможно, за пытками собак у Бондаря нет времени на то, чтобы наладить быт.

Собака затыкается и забивается в конуру. Испуганно скулит. Мы же идем к дому без страха, без сомнений. Сознание — как выстиранная простыня, на которую должна пролиться кровь детства.

В окнах нет света. Саня толкает входную дверь мясистым плечом. Она — то ли не заперта, то

ли хлипкая — сразу распахивается. В ноздри бьет кислый запах. Воздух тяжелый, затхлый. Вдоль стены — несколько пар обуви. На полу — тряпье. Зажигаем свет, щелкая выключателем. Загорается лампочка, без люстры она смотрится одиноко, под стать обветшалому интерьеру.

Рассасываемся по комнатам. Мне достается кухня. На столе — вскрытая банка кильки в томатном соусе и ломоть хлеба. Вдруг понимаю, что за весь день съел только три ядерных пирожка с ливером. Опускаю ломоть в томатную жижу, макаю, ем, капая на рубашку.

— Тут он! Сука! Тут!

Бегу на крик. Тесная комнатка, шкаф, диван, стул. Здесь темнее, чем в остальном доме. Пахнет грязными носками и перегаром. Саня и Жук чекистами нависают над диваном. На нем полусидит испуганный парень.

— Бондарь?! — орет Саня.

— Ч-ч-чего? — не понимает парень; по-моему, он пьяный.

— Ты — Бондарь, сука?! — орет Жук.

— Ч-ч-что надо, мужики, в-в-вы чего, а?

Голова у парня белобрысая, квадратная. Как у Нивес Цельсиус.

— Это Бондарь! — ору я.

Ногой Саня бьет парня в лицо. Тот падает на диван. Жук добавляет ему коленом. И вновь с ноги. Вижу на столе пепельницу, хватаю, бью. Бондарь закрывает лицо руками, поджимает под себя ноги.

— Где свет?! — кричит Жук.

Еще недавно мои друзья были флегматичными амебами, но теперь они движение, ярость, месть. Ненависть сделала их живыми.

Шарю рукой по стене, вымазанной в чем-то липком, выключателя нет. Но Саня уже светит фонариком от мобилки.

— Покажи лицо!

Бондарь отнимает руки с растопыренными, точно у киношных упырей, пальцами. Его губы уже начали распухать, он шепчет:

— В-в-вы чего, мужики, вы чего?

— Думал, сука, обойдется? — говорит Саня, бегая по лицу парня бледно-синим пятном от фонарика.

— Я н-н-не...

Но Жук не дает ему договорить. Подбегает и бьет с локтя. Кажется, слышится хруст. Бондарь орет и вновь прижимает к лицу ладони.

Мне становится тошно. Я отворачиваюсь, хочу уйти — месть не приносит облегчения, — но замечаю фото на стене. Подхожу ближе, чиркаю кремнем зажигалки, чтобы рассмотреть изображение.

Фото черно-белое. На нем белобрысый парень в костюме обнимает темноволосую девушку в свадебном платье. Оба счастливые, радостные, смеются. На заднем плане — море. Мне хочется быть там, внутри их мира, где, кажется, все проникнуто любовью. Подпись: «Вадим и Алена Бондарь».

Стою, разглядываю фото, а внутри — непонимание. Почему Бондарь, замучивший сотню собак, счастлив, и девушка рядом с ним счастлива, и у них есть их любовь, та самая всепобеждающая, всепрощающая — но почему она не спасла жизни тех, кто был с ними рядом? Или любовь как высшее проявление божественного больше не существует в этом мире, мудрость которого Бог обратил в безумие? А если нет любви, если нет жизни, то есть ли Бондарь, есть ли я, наконец?

Написано-переписано про жизнь, пронсящуюся перед смертью, но ведь есть, наверное, согласно закону отражения, и обратное: когда лики смерти видятся перед началом.

И то, что я принимал за жизнь, цепляясь, держась, ею на самом деле не было. Отец, покупающий мне мороженое. Мать, ругающая его за это. Школа-гербарий, полная высохшими учителями. Преподаватель вуза, пьющий коньяк в лаборантской. Я сам, проектирующий и травящий на заводе платы. Это не жизнь — это слова, которые я использовал в качестве описания, потому что верил мудрецам, которые во все времена говорили, будто письма не знают смерти. Но если слова я мог хоть как-то упорядочить, разобрать на буквы и звуки, то предметы, люди, которые они описывали, изучению не подлежали.

Бью Бондаря, не разбирая куда, но понимая зачем. Боль как средство управления. Кровь как свидетельство жизни. Моей, его, нашей. И Саня бьет, и Жук, но постепенно силы их убывают, а у меня, наоборот, прибывают. Бондарь больше не закрывает голову руками. Он бездвижен, безмолвен.

Две пары рук оттаскивают меня назад, пальцы больно вдавливаются в ключицы. Но у них нет шансов. Я слишком силен. Я — Иисус Наввин, останавливающий Солнце и Луну. Я — Беовульф, побеждающий чудовищного Гренделя. Я — Иаков, бьющийся с Ангелом до зари.

Бить до конца, бить до упора, словно падая в колодец и зная, что уже нет шанса выбраться наружу. Бить в такт стука сердца, изливая ярость. Каждый удар — как сеанс психотерапии. Перед глазами — черно-белое объявление, черно-белая фотография. Они сменяют друг друга, как картинки в слайд-шоу.



...житель Киева Антон Бондарь убил и замучил более 150 собак...

...Вадим и Алена Бондари...

Останавливаюсь, обмякаю. Руки повисают вдоль тела, как бельевые веревки, безжизненные, скрученные узлами отчаяния.

Антон... Вадим... Бондари...

Не может быть, Господи, не может быть! Это в хорошей литературе нет случайностей, а в жизни они сплошь и рядом, они, наверное, и есть жизнь.

— Стойте! — кричу я.

Но кому? Где Саня, где Жук?

Замирают, застывают время и пространство. Дергаю парня за плечо — его лицо — как тертая

на варенье клюква — шевелю, спрашиваю, но он молчит.

Черно-белое объявление на заборе, черно-белое фото на стене — лишь доказательства многоцветности мира.

Луна — тяжелая, выпуклая — повисла так низко, что протяни руку — и обдаст холодом. И чем больше я смотрю, не в силах оторвать взгляд, тем явственнее кажется, что лунная поверхность — словно высеченное изо льда лицо Бондаря. Он ухмыляется нагло, дерзко, точь-в-точь как обдолбанный Кит Ричардс...



Александр КАЗИНЦЕВ

## ОДИН НА ОДИН С ВЕЧНОСТЬЮ

**Я** родился в Москве и всю жизнь прожил на одном месте — неподалеку от Белорусского вокзала, издательства «Правда» (теперь «Пресса») и старинного Петровского парка. Окончил литературный класс школы при Академии педагогических наук, факультет журналистики МГУ и аспирантуру журфака по кафедре критики.

В Университете я познакомился с замечательными поэтами — Алексеем Цветковым, Бахытом Кенжеевым, Сергеем Гандлевским (с Александром Сопровским я подружился еще в школе). Мы стали издавать неподцензурный альманах «Московское время». Вышло несколько выпусков, экземпляры разошлись по Москве, попали за рубеж. Двадцать лет спустя один из критиков «Нового мира» назовет «Московское время» бронзовым веком русской поэзии по аналогии с золотым и серебряным.

Но в семидесятые годы мне казалось, что наши стихи не понимают, хотя они написаны в классической традиции. «Но сложное понятней им», — по слову Бориса Пастернака. Я решил объяснить и стал писать критические статьи. Потом наступила перестройка, и я обнаружил, что люди не понимают не только стихи, но и саму жизнь — катастрофичность совершающихся событий. Я начал писать публицистику. Издал немало книг, стал заместителем главного редактора журнала «Наш современник», секретарем правления Союза писателей России, лауреатом литературных премий. А стихи ушли! Так бывает. Так чаще всего и бывает...

Громкие обобщения рискованны. И все же скажу: поэзия — это жизнь. Человеческая жизнь во

всем ее объеме — с событийной канвой, страстями, внутренней логикой и стержнем, определяющим «осанку», существо личности. Уходят стихи, и человек меняется настолько, что ему нелегко узнать себя прежнего. А может, это он стал жить иначе — и стихи ушли. В любом случае изменения радикальны.

Лишний раз убедился в этом, просматривая свои старые поэтические тетради. Человек, написавший все это, жил в семидесятых годах прошлого века. Его судьба для меня укор. И одновременно источник вдохновения.

А если уж мы взглянули на автора со стороны, то почему бы не потеоретизировать. Вспомним, когда большинство начинает жить стихом. Лет в четырнадцать-шестнадцать. Именно к этому времени человек сознает себя как личность. Он неповторим, другого такого не будет. И тут же к восторгу примешивается горчайшая печаль — осознание одиночества перед лицом мироздания. Отсюда обостренный страх смерти, свойственный именно юности. Отсюда и пресловутая эмоциональная нестабильность: качели между бурной радостью и унынием.

Именно тогда приходят любовь и стихи. Древний инстинкт самосохранения подталкивает к продолжению рода. И он же диктует первые строки: человек пытается сохранить себя не только физически — в потомстве, но и духовно. Осип Мандельштам отзывался о стихах начинающих с иронией, но и не без грустного понимания: «Ребенок кричит оттого, что он дышит и живет, затем крик обрывается — начинается лепет, но внутренний крик не стихает... Стихотворство юношей и взрос-

лых людей нередко этот самый крик... Слова безразличны — это вечное “я живу, я хочу, мне больно”».

Впрочем, ирония здесь вряд ли уместна. Конечно, подлинному поэту слова далеко не безразличны. Но импульс, одушевляющий начинающего стихотворца, — сказать, пусть даже косноязычно: «Я живу», — в основе искусства.

Мыслитель Яков Голосовкер пронизательно заметил: «Убегая от смерти, не понимая ее, человек, борясь за существование, за свою жизнь, устремляется к вечной жизни, к бессмертию». Творчество, как и любовь, — наиболее органичная форма такого устремления. Мыслитель итожит: «Только под углом зрения бессмертия возможно культурное, т. е. духовное творчество».

Так говорит философ. Поэт — проще и задушевнее:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире  
Мой прах переживет и тленья убежит...

Другое дело, что на склоне лет становится ясна «вся дерзость юных легковых» (Е. Баратынский). Дети вырастают и разлетаются по свету. Та же судьба и у художественных произведений. В какой-то момент осознаешь: эти книги, эти мысли больше тебе не принадлежат. У них собственное существование. Читатели и толкователи понимают их по-своему, зачастую вкладывая смысл, прямо противоположный твоему. И на уважительные реплики: «Как вы правильно написали» — все чаще поднимаешь брови. Наконец истончается и любовь. Великое чувство, которое — если повеет! — ведет по жизни и поднимает над бытом, неудачами, болью. Руки размыкаются, и человек оказывается один на один с Вечностью. Не этот ли ужас последнего одиночества звучит в поздних стихах Евгения Баратынского и в финальном *Adagio* Девятой, предсмертной, симфонии Густава Малера. Ну да кто же заглядывает так далеко, когда в юности торопливо записывает первые стихотворные строки!

Александр Казинцев

### Ода ПУСТЫРЮ

Зажатый стройкой с четырех сторон,  
он неизменно в небо обращен.  
Поет железо на высокой ноте,  
жарюю пышут корпуса машин,  
а он застыл в могучем развороте  
спрессованных на солнцепеке глин.  
Клочок земли измусоренной, бедной  
курчавится ромашкою целебной,  
и одуряет травяной настой,  
настоянный прогретой высотой,  
и запах подымается к листве,  
такой же цепкой, чахлой, пропыленной,  
и — на Кольцо — и льется по Москве,  
отвалами бульдозеров снесенной,  
грузовиками за город свезенной,  
в пожарном оцеплении сожженной.  
Из кирпичей фундамента трава  
выглядывает с видом торжества.  
На щит ромашки встала синева,  
и нет опоры крепче и просторней,  
чем кирпичи, соплодия и корни,  
которыми чем дальше, тем упорней,  
девятый век уже жива Москва!

1977

\* \* \*

Удивительно пахнет дождем —  
 воздух соткан из влаги и воли,  
 жадно дышишь и веришь с трудом,  
 что сугробы мы перебороли.  
 А зима бесконечной была,  
 опостылело это убранство —  
 как посмертная маска бела  
 затвердевшая корка пространства.  
 Девять месяцев — гипсовый гнет,  
 воздух в струнку, деревья ни шагу,  
 и казалось, что кончится год  
 и земля под снегами умрет,  
 не всосав животворную влагу.  
 А теперь — до ростка, до комка  
 глинозема — все дышит весной,  
 и течет как ночная река  
 в отраженьях асфальт подо мною.  
 И безумный, казенный, любимый  
 город, вырванный из-под льда,  
 и машины, летящие мимо,  
 одуревши, не зная куда,  
 в гром, в жару, где сирени в пыли, —  
 все омыто прозрачной водою,  
 все омыто водой молодой,  
 властным запахом мокрой земли.

1976

\* \* \*

Загроможден разросшейся листвою  
 по-летнему зеленый небосвод,  
 и запах солодовый над Москвою,  
 как облако воздушное, плывет.  
 Оно прокатывается невесомо,  
 сияет оболочкою своей,  
 его вдыхают темные проемы  
 открытых окон в гуще тополей.  
 А в доме незаметно перемены,  
 он выстоял которую весну,  
 от зноя облупившиеся стены  
 томительно восходят в вышину.  
 Струясь в потоках кухонного чада,  
 посудой громыхая вразнобой,  
 всплывает коммунальная громада  
 и заполняет небо над собой.  
 Пустынный двор от ужаса стихает.  
 Пластмассу ест послушная игла —

и звуки фортепьянные стекают,  
как будто капли с легкого весла.  
А в вышине, в столпотворенье света,  
где с Голиафом борется Давид,  
сиреневый, июньский, разогретый,  
прозрачный ливень яростно кипит.

1977

\* \* \*

Сумерки на землю налегли,  
даже небо отдано удушью,  
заревое зеленое вдали  
реет над асфальтовой сушью.  
В темноте они еще светлей —  
ожиданье тягостной недели —  
прутья на обрубках тополей  
уплотнились и позеленели.  
И уже гуляет над Москвой  
среди туч, насупленных зловеще, —  
легкою косынкой грозовой  
эта зелень светлая трепещет.  
Входит лето в каменный мешок,  
опоздав и перепутав числа.  
Тут любой не то что одинок,  
а с самим собою разлучился.  
Капли света бьются о стекло,  
небо дышит духотой сырою.  
На Москве обвисло тяжело  
лето довоенного покроя.  
Что же сердце полое щемит,  
будто в пустоте его шербинка,  
что же в небо тусклое летит  
зелени прозрачная косынка?

1978

### Фонари

Город стоял на краю у заката  
и, отраженьями повторено,  
неба полотнище было пернато,  
в перьях малиновых было оно.  
Где облака серовато клубились  
в пятнах, как винных, но только свежей,  
где облака в зазеркалье садились  
и превращались в вечерних стрижей,  
свод перевернут — просторный, сутулый  
и ворожащий тихонько впотьмах,

так, чтобы узкая лодка уснула,  
мерно качаясь в тяжелых струях,  
там мы ходили, и, в общем — напрасно  
то, что ходили, и было напрасно  
мы ходили... Свеченье погасло.  
Кончик у кисточки красной погас.  
Радость обмана, позор отчужденья  
с тьмою живее, животней, острей.  
А по воде растеклись отраженья,  
как я тебе тогда заметил —  
серебряные кипарисы фонарей.

1970

\* \* \*

Я в мир отражений войду,  
в зеленые кущи забвенья —  
и будет как в нашем саду  
просторным листья шелестенье.  
Она не успела отечь —  
громада ветвистая эта  
покамест не сбросила с плеч  
дождливую музыку лета.  
Но длится зеленая мгла,  
но солнце в любое мгновение  
ударит в верхушку ствола  
в разгар трепетанья и пенья.  
...  
Москва окунулась в листву,  
в сиреневый воздух незрячий —  
Москва покидает Москву  
и за город рвется на дачи.

1978

\* \* \*

Что делать мне — дождливый воздух пуст,  
такой щемящий и такой прозрачный,  
как тот вишневый невесомый куст,  
вчера расцветший у ограды дачной.  
А дождь прошел, и все сады в цвету,  
и брезжит вечер в лепестковой гуще,  
как будто въяве видишь пустоту,  
объемлющую этот рай цветущий.

1976

## ЛЕС

И подлесок еловый тотчас  
выступает, и ищет напрасно  
пустотой огорошенный глаз  
опереться на желтое с красным.  
Нет, в лесу — ни листка, ни души,  
лишь травинки торчат заостренные,  
как цветные карандаши,  
тонко ножиком очиненные.  
И гармонии здесь не найдешь,  
и вконец потрясенный распадом,  
лес сквозит без прикрас, без одеж  
под внимательным пристальным взглядом.  
Он колеблет по глади воды,  
в пустоте так графично-условен,  
неземные пустые сады,  
с низким небом плывущие вровень.  
1972

## ПЕРЕД РАССВЕТОМ

*Памяти отца*

Что на тело смотришь ты, душа,  
сторожишь пустую оболочку,  
в памяти события вороша,  
теребя имен и лиц цепочку?  
Каково тебе сидеть одной  
в зале с голым светом посредине  
в страшной невесомости земной  
в кафельной сверкающей пустыне?  
А над толщей сводов и палат,  
там, куда крыла твои воздеты,  
зимние созвездия горят  
и пылая движутся планеты.  
И о чем-то ангелы поют.  
Ты еще не поняла ни слова,  
ты, томясь и сокрушаясь тут,  
вся во власти языка земного.  
Ты еще не поднимаешь взор,  
ты еще сидишь осиротело,  
не решаясь вознестись в простор,  
в звездный мир из своего предела.  
1976

## Иов

Спасибо, что помог душе разоблачиться —  
она теперь Твоя, как никогда,  
она теперь свободна, словно птица,  
не знающая на земле труда.  
Что мне богатство, что мои чертоги,  
что шепот уваженья за спиной!  
В пыли сижу я посреди дороги,  
зато теперь Ты, Господи, со мной.  
Так где же милосердие и пощада —  
без передышки с проклятого дня,  
как будто бы лавина камнепада,  
несчастья покатались на меня.  
За что Твой гнев — ищи пути кривые  
и вырви изогвавшийся язык.  
Ты покажи, где согрешил впервые  
и где уже к обману я привык.  
Не отворачивайся, подожди немного,  
пусть крючкотворы хоть пятно найдут.  
А если — нет, я вызываю Бога  
истцом на справедливый суд.  
Я не боюсь губительного грома —  
и так уж через силу я живу.  
Я пеплом мной построенного дома  
посыплю отягченную главу.  
Ты возложи вину как Дар Небесный,  
и я легко сойду под кров земной.  
Глаза мои слепит огонь отвесный,  
до неба вставший прямо предо мной.

1976





**Марианна ТАРАСЕНКО**



Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Тартуского университета (специальность «филолог-русист, преподаватель»). Работала учителем в школе, затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После ликвидации кафедры еще пять лет проработала в школе. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».

## **БЕЛАЯ? — НЕТ, КРАСНАЯ. — А ПОЧЕМУ ЧЕРНАЯ?**

**П**оследний выпуск ушедшего года мы посвятили перевертышам — словам и крылатым выражениям, которые претерпели обидные изменения в написании и произношении, «благодаря» чему исказился их первоначальный смысл.

Но есть в нашем языке и другие слова, над которыми вроде бы никто особенно не издевался, но смысл их изменился, в некоторых случаях — на полностью противоположный. А виновата в этом жизнь, которую принято обвинять во всем: это проще, чем признать собственные ошибки.

Возьмем, например, слово «жердйя». Я, сугубо городская девочка, впервые столкнулась с ним лет в десять, когда читала знаменитую «Бронзовую птицу» Анатолия Рыбакова. Один из героев повести носил прозвище Жердйя по той причине, что был худым и высоким: жердь — жердйя. Не помню, разъяснялась ли этимология в самом тексте или в сноске, но явно разъяснялась — для таких, как я.

Не могу сказать, что мое поколение использовало это слово, многие относительно его су-

ществования вообще пребывали в счастливом неведении. И я его никогда не слышала — только видела в книге. И вот много лет спустя наконец услышала. В первый раз — от собственного ребенка, который принес его, что называется, с улицы. Очень удивилась и не сразу поняла, что теперь это обозначение не для тощего, а для толстого человека, и не «жердйя», а «жирдйя»: от слова... «жир».

Затем я столкнулась с этим феноменом в письменных источниках, потом «жирдйя» применительно к толстяку произнесли по телевизору... Но накричать мне удалось только на сына. «Откуда, вот скажи мне, в слове “жир” появляется корень “жирд”? — гневно вопрошала я. — Или “д” — такой новый суффикс?» Это было гласом вопиющего в пустыне. Представитель нового поколения отнесся к материнскому гневу с философским спокойствием: ну мало ли как было, главное — как стало, а суффиксы — это вообще полный отстой.

Другое слово, перевернувшееся сравнительно недавно, — «толстовка». Вроде бы всем было

известно, что это мужская рубашка, названная по фамилии русского писателя. Такую рубаху в народном стиле, просторную, длинную, на кокетке, с густыми сборками, носил навыпуск и сам Лев Николаевич Толстой, и его последователи. А что такое толстовка теперь? Это любимица современной молодежи, плотная трикотажная блуза. Название произведено от слова «толстый», то есть даже не произведено: услышал кто-то термин «толстовка» и решил, что это нечто толстое. Есть и другие примеры. Вот кого изначально звали эсрами? Правильно, социалистов-революционеров. Кого теперь? Членов партии «Справедливая Россия».

А вот случай «биологически-кулинарный». Мы знаем, что в старину слово «красный» являлось не только обозначением цвета: именно от него образовалось слово «красивый». И красной рыбой на Руси издавна называли представителей благородного семейства осетровых — собственно осетра, стерлядь, севрюгу и белугу — за их потрясающий, ни с чем не сравнимый вкус, а вовсе не за цвет мяса, никак не красный, а очень светлый, розовато-желтоватый.

Смотрим у Даля: «Главное деление этого класса (имеется в виду рыба): костистые и хрящистые, или, как у нас их зовут, черная и красная рыба». Смотрим в словаре Ушакова: «Красная дичь — лучшая болотная дичь. Красный зверь — наиболее ценимые охотниками звери. Красная рыба — бескостные рыбы, являющиеся высшим сортом

съедобных рыб (осетр, севрюга и т. п.)». Тому же нас учит и знаменитая «сталинская», как ее называют, «Книга о вкусной и здоровой пище». Таким образом, красная рыба — это самая вкусная, самая дорогая и дарящая нам драгоценную черную икру (хорошо, что хоть ее никогда красной не называли — вот была бы путаница!).

Есть, кстати, и другая версия: эту рыбу называли красной потому, что в крупных городах России она продавалась только за червонцы — «красненькие». Но как бы то ни было, красными считались только осетровые, и точка. А что теперь? А теперь красной называют рыбу с мясом красного или розового цвета, то есть лососевых — самого лосося, форель, горбушу, кету и прочую семгу. Но некоторые представители этого семейства, например сиг и нельма, совсем не красные, а молочно-белые, и в Сибири и на нашем Севере именуются белорыбицей, белой рыбой.

Вот такая чехарда произошла со словами, опасаюсь за судьбу которых еще совсем недавно не было никаких оснований. Жизнь диктует свое, язык развивается и меняется, но, к сожалению, часто в основе этих перемен лежит простая человеческая безграмотность, и не только языковая — незнание истории, привычка к упрощенному пониманию... И, конечно же, отсутствие любознательности. А на Кубани и в Прикаспии, то есть в регионах распространения осетровых, красной рыбой продолжают звать именно их. Боюсь, скоро это сочтут диалектизмом.





**Станислав АСЕЕВ**

Станислав Асеев родился в 1989 году в Донецке, Украина. Сейчас живет в Макеевке Донецкой области.

В 2010 году окончил Государственный университет информатики и искусственного интеллекта (факультет философии и религиоведения, диплом бакалавра философии с отличием), в 2012 году — магистратуру Донецкого национального технического университета (факультет компьютерных наук и технологий, дипломом магистра религиоведения с отличием). После окончания уехал в Париж для зачисления в ряды Французского иностранного легиона. Вернулся на Украину. Сменил около пятнадцати мест работы: работал грузчиком, стажером в банке, копателем могил, оператором в почтовой компании, продавцом-консультантом бытовой техники и пр.

Сфера научных интересов: французская и немецкая онтология XX столетия. Любит блюз. Хобби — бег. Политические взгляды — консервативные. Дважды менял имя. Достаточно скрытен, предпочитает одиночество и узкий круг знакомых. Личные качества — непостоянство, уравновешенность, особо развит скептицизм.

*Хотел бы выразить признательность за помощь в написании романа непостоянству, внутренней иронии и бесконечной жизненной неудовлетворенности, целиком наполняющим содержание этой книги, а также выказать искреннее соболезнование всем моим будущим биографам, чей хлеб я так безжалостно отнимаю каждой строкой этого произведения.*

## МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ

РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ

### ОТ АВТОРА

**Р**оман продолжает традиции французского экзистенциализма, проявляя основные мотивы этого течения в художественной форме. Основной лейтмотив произведения: бессмысленность человеческого существования

сквозь призму абсурда политической жизни страны. В романе повествуется об истории жизни автора в реалиях украинской политической и духовной среды, его поисках смысла собственной жизни, взаимоотношениях

внутри семьи, особенностях мироощущения жителей Донбасса; отдельная, последняя глава романа («В стране майданов») посвящена событиям недавней украинской истории: зарождению национализма, революции, восста-

нию в Донбассе и нынешней войне, вскрывает причины происходящего сквозь призму философских оценок и отступлений, а также очерчивает основные ментальные противоречия разных частей страны.

В произведении изложены отчасти биографические, отчасти художественные детали жизни автора, вовсе не претендующие на всеобъемлющий охват его земного пути. Тем не менее если

роман и содержит какую-либо ценность, то она состоит вовсе не в сухом изложении прошлого, а в его живом отражении в настоящих мыслях, значимость которых целиком выносятся на суд читателя.

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

**Х**олодное туманное утро 2012 года. Моросит апрельский дождь. Я хорошо помню этот день: изо рта у меня пробивается белый пар, руки сомкнуты за спиной в крепкий замок, а вокруг, словно фигуры на шахматной доске, в точно такой же позе стоят еще несколько десятков парней, одетых в бело-синие спортивные костюмы с овальной надписью «armée de terre». Абсолютная тишина. Помню, я тогда поднял голову и увидел, как прямо надо мной проносятся темно-серые тучи парижского неба, и капля дождя упала мне прямо на зрачок. Через четверть часа я буду стоять на невысоком холме, забрасывая под музыку регги с еще парочкой ребят тяжелые мокрые шины в небольшой микроавтобус, отвозящий их под соседнее здание в паре сотен метров от нашего склада, и там все тем же составом мы будем выгружать их на улицу и складывать в огромную резиновую пирамиду. Это Fort de Nogent, парижский корпус Французского иностранного легиона. Как я здесь оказался? Что ж, если вам действительно интересен ответ, вам придется набраться недожинного терпения, ибо теперь я собираюсь изложить весь долгий путь, приведший меня к этому странному, но столь восхитительному клочку весенней французской земли...

## ГЛАВА 1. ПОЗОВИТЕ МИСТЕРА БЛЭКА

**Я** родился в небольшом городке на востоке Украины. Факт моего рождения был закреплён фиолетовыми чернилами в родильном доме города-миллионера, называемого ныне Донецком, но небесам, а также моим вполне земным родителям было угодно, чтобы мы тут же переехали в достаточно небольшой рабочий городок по соседству с черным гигантом. Затхлый воздух, густой серый смог, окутывавший весь город на закате оранжевого дня, когда небо наполнялось пунцовыми цветами огромного металлургического завода, впрыскивавшего струи пламени в и без того неестественное небо, обветшалые

советские здания и брошенный парк, доживавший свой век на краю городка, — все это предстанет перед моим взором значительно позже, а пока я рос в атмосфере всеобщего благоговения и восторга, коими пытались окружить мою скромную детскую жизнь три женщины, воспитавшие меня, как теперь известно, одним лишь своим присутствием. Странно ли думать, что мое нынешнее отношение к женскому полу, граничащее порой в своей категоричности с абсолютной манией, есть не что иное, как угрюмые тени этих троих несчастных, по-прежнему все еще бродящих по туманному дну моей детской души? Да и могло ли быть по-другому?

Взрастая в семье тружеников, я никогда не имел особенных иллюзий по поводу своего происхождения, которым ни гордиться, ни стыдиться уж никак не приходилось: у нас никогда не проходили литературные вечера, никто не читал возвышенных стихов Байрона, а круг общения ограничивался исключительно себе подобными. Лишь впоследствии, словно в насмешку над самим собой, от обеих бабушек я узнал, что будто бы золовка моей двоюродной прабабушки по линии матери была женой Лаврентия Берии, память о чем с почтительным страхом ревностно хранилась внутри рода, ибо бабушка до сих пор искренне боялась приезда черного воронка и строго-настрога запретила даже упоминать об этом чудовищном событии вне стен дома. Что же до линии отца, то здесь ситуация была еще более плачевной: как позже выяснилось, предметом гордости рода здесь выступал факт венчания тещи моего двоюродного деда с каким-то югославом, и все бы ничего, если бы не венчал их сам Нестор Махно, в то время стоявший с войсками в Гуляйполе. И если в первом случае память о «кровных» узах с семьей Лаврентия Павловича всячески предавалась забвению, то о пышной свадьбе с отцом анархии в качестве капеллана рассказывали при каждом удобном случае, о чем не раз свидетельствовала родная мать моего отца.

Воспоминания о последнем были туманны и непрочны: он представлял то таинственной фигурой, словно хмурая тень, всплывавшей в моей памяти нечеткими лоскутами прошлого, то вдруг вполне отчетливым небритым мужчиной, всякий раз после бритья бороды являвшимся мне в качестве самого Творца, сошедшего с небес под покровом блистающих одежд: настолько резко для меня менялось все его существо. Казалось, каждым движением лезвия он сбрасывал по году своей жизни и к концу этого незамысловатого ритуала становился почти младенцем, выходя из ванной комнаты помолодевшим на несколько десятков лет.

Но об отце здесь еще будет сказано, и притом немало, а пока же я хочу поведать вам об основной своей проблеме, так или иначе молчаливо стоящей между всеми написанными здесь строками, словно таинственный господин в черном пальто с дорогой тростью, всякий раз учтиво приподнимающий шляпу при виде моих редких попыток настроить свою жизнь.

Проблема эта проста и банальна, как и большая часть вещей, происходящих с нами на этом свете, а потому высказать вам ее мне не составит никакого труда: я, видите ли, не на своем месте. Вот и все. Но так как я уже слышу миллионы возгласов моих почитателей, предпочитающих чтение этой книги чему бы то ни было в своей жизни и кричащих мне с бархатных красных кресел своих домов, — и возгласы эти возмущенно судачат «что еще за место?» или «откуда тебе знать?», а то и вовсе безмятежно подбадривают меня словами «да все в порядке, дружище, не переживай», — то я уж позволю себе объяснить, что же я все-таки имею в виду, тем самым доказав всем моим вымышленным поклонникам факт их собственного заблуждения.

Итак, с самого начала, а начало это я связываю со своим рождением, я был поставлен судьбой в некоторое вертикальное положение, обеспечиваемое со всех сторон различного рода подпорами, невидимыми для обычного глаза. Сложность моего положения заключалась в том, что я никогда не был достаточно богат, чтобы иметь собственный саквояж предрассудков, обычно сопровождающий большинство богачей в их путешествиях по бурному течению жизни, — но и не был настолько беден, чтобы не иметь этих предрассудков вовсе, а потому те самые невидимые подпоры, о которых я уже упоминал, раскачивались около меня самым бессовестным образом, едва лишь я пытался воткнуть их поглубже рукой.

Так, все условия моего существования, собранные на небольшом клочке украинской земли, с са-

мого детства звучали громким шумом отбойных молотков и отдавали легким привкусом угольной пыли, время от времени появлявшимся на устах моих земляков во времена особых расцветов промышленной мощи нашей земли. Так как род мой происходил не из древних шотландских лордов, то, прибавив к этому факту отбойный молоток, вы получите вполне привычную для здешних мест картину из крепкого худощавого парня средних лет, укладывающего уличную плитку прямо посреди жаркого летнего дня. Или вот другой пример: короткий дешевый галстук на качающейся от ветра шее, подобранный под цвет темных туфель и пластмассовой папки, призванных создать лик того, кто, видимо, управляет загорелым плиточником, гнувшим спину в тридцатиградусную жару. Черт, эти двое могли бы даже встретиться под одним небом, перекинувшись парой-тройкой слов о будущих заказах и оплате обеденных часов, — и в обоих случаях это, без всякого сомнения, мог бы быть я. Но когда я говорю о том, что нахожусь не на своем месте, я, во-первых, утверждаю это самым серьезным образом, а во-вторых, имею в виду тот факт, что вы читаете эти строки, что означает отсутствие на моей шее галстука и уж тем более полуденного солнца на моей спине, на которое, к слову сказать, у меня аллергия.

Да, я пишу книги. Знаю, звучит как признание на сборах анонимных алкоголиков, но аплодисменты мне не нужны, и проблема моя вовсе не в этом, ибо сами по себе литературные фантазии не являются ответом на вопрос, почему же я все-таки скребу пером по бумаге, а не ковыряюсь в каком-нибудь грязном растворе, пропивая едва заработанные гроши. Итак, позвольте мне вновь вернуться к моей семье, дабы, следуя мысли одного остроумного автора, очертания проступили с еще большей силой, положив начало невероятным событиям, ожидавшим меня впереди.

Я был единственным ребенком в семье, а потому в отношении знаний о счастливой семейной жизни мог опираться лишь на опыт своих двоюродных братьев, чья судьба представляла собой края двух скалистых обрывов туманного каньона, распростертого вопросительным знаком на плато нашей семьи. Так, первый из них, разменяв четвертый десяток, не только не имел ни малейшего намека на крепкие семейные узы, но и вообще старался избегать личных тем, чем всякий раз подогревал неподдельный интерес к себе со стороны всей родни, — тогда как второй еще до тридцати лет успел обзавестись двумя детьми и женой и ютился в однокомнатной квартире с видом на ближайшее десятилетие. Но вот в чем

странность: несмотря на такую феноменальную свободу моего первого брата, его едва ли можно было заподозрить в счастливой жизни, тогда как второй, несмотря на некоторые практические неудобства, похоже, был искренне счастлив, хотя и с небольшой сединой у висков. Что же до меня, то идея семьи, в особенности же — детей, вызывала во мне такую неприязнь, которую едва ли можно было равноценно обменять на полагающийся в таких случаях бартер — любовные ласки жены или кого бы то ни было. Знаю, такой инертный прагматизм вызывал у большинства отвращение, но для меня это была вовсе не теория, а перспектива отсутствия любых перспектив, каких бы успехов на семейно-карьерном поприще я ни достиг.

С самого моего детства что-то пошло не так. И этим «что-то», надо думать, был мой отец: проводя остаток своей жизни в кабаках и барах, а то и вовсе валяясь в душистых кустах малины, он обрек меня на нежные руки моих домочадцев — матери и двух бабушек, на чьи плечи и была переложена судьба моего воспитания. Впрочем, никаких особых бесед со мной не вели, и древо познания добра и зла проросло во мне само собой, явно накренившись в более прохладную сторону полдневных теней, — меня не научили любить, но также и не научили ненавидеть: те наивные добродетели, которые были присущи моей матери в соответствии с ее естественным мученичеством, обошли меня стороной, ибо ее вечная жертвенность не приносила никаких плодов ни с терзавшим ее мужем, ни с собственной матерью, ни, в сущности, со мной, в конечном итоге сложившим саму идею сопереживания в маленький пыльный ящик людских заблуждений и навсегда затерявшим ключ. И если звездное небо всегда сияло надо мной бесчисленной россыпью звезд, то моральный закон тлел небольшим угольком, несколько меня не вдохновляя.

Вся система моего воспитания свелась к редким приказам отца немедленно повернуться к стене, когда они с матерью занимались любовью, ибо спали мы на одной двуспальной кровати, и сам я, будучи плодом этой страсти, теперь мешал ее продолжению. Но, быть может, именно поэтому свобода мысли во мне достигает теперь апогея, не находя никаких естественных преград для своего бурлящего потока? Секс не стал для меня табу, как сделался таковым для большинства моих знакомых и близких, а сама система запретов и моральных предписаний скорее видится мне теперь лишь очередным отворачиванием к стене, вместо которой, к слову сказать, у нас стоял шифоньер.

Но как бы там ни было, а вся эта учтивая церемонность, которой я подвергся вследствие отсутствия должного внимания со стороны моего родителя, в народе называемая причудливым словом «сюсюканье», впоследствии выльется в ненависть не только ко всем женщинам нашего рода, но и вообще ко всем представителям рода людского, едва лишь позволившим себе выразить малейшую слабость хоть в чем-то. Вершиной, олицетворявшей, как мне казалось, духовную низость, была бабушка по линии отца: пережив обоих своих детей, она всякий раз проливала океаны слез, едва речь заходила о людях, носивших имена ее детей, а затем и вовсе начинала причитать «ну, точно Вовка», только лишь взглянув на мое лицо. Позднее эта фраза начнет вызывать у меня яркую неприязнь, так как мое уязвленное самолюбие считало совершенно недопустимым отождествление себя с человеком, окончившим свою жизнь столь бесславно. Что ж, этот слезливый гарем и впрямь вымыл последние капли сострадания из моей и без того искаженной души, превратив саму идею сопереживания в уродливую маску, которую, как мне тогда казалось, надевают лишь слепцы, вовсе не осознающие непроходимую пропасть между слезами и равнодушием мира, скорее улыбающегося, чем угрюмо скорбевшего над вавилонским надгробием из наших несбывшихся надежд и иллюзий.

Что же до отца, то, думаю, я был ему в тягость. Не принимая никакого участия в моей судьбе, время от времени он все же понимал, что где-то в трехстах метрах от него находится неразвязанный моральный узелок, имеющий вполне осязаемое бледноватое тело и до самой его смерти преследовавший его опьяненную совесть редкими встречами на родных улицах. Возможно, мое нежелание иметь детей стало своеобразным зеркалом, в котором отчетливо отразилась неуклюжесть отца в его собственной ипостаси, особенно ярко являвшая себя в редких попытках все же проявить благосклонность к моей персоне.

По большей же части отец запомнился мне страннейшими эпизодическими ролями, которые он разыгрывал в обязательном сопровождении невероятного перегара: то вдруг, являясь домой в абсолютном опьянении, клал мне руку на живот, который частенько болел, закрывал глаза, не совершая при этом более никаких движений, — и через некоторое время учтиво интересовался, не прошла ли боль, считая себя, как затем объясняла мне мать, чем-то вроде целителя. От нервного напряжения живот у меня начинал болеть еще сильнее, но ложь о чудесном исцелении помогала мне

скорее избавиться от его холодной липкой руки и перевернуться на другой бок, что действительно приносило некоторое облегчение. Целительский дар отца мог сравниться лишь с его невероятно нудными беседами, которые он любил проводить «с сыном наедине, по-мужски» за шаг до окончательно пьяного обморока.

Одну из таких бесед я запомнил на всю жизнь. Я вижу ее как сейчас: канун Рождества, в прихожей горит свет, мы сидим в абсолютно темном зале с выключенной люстрой, на фоне вечернего окна виднеется силуэт огромной, до самого потолка, елки, устанавливая которую было нашим с бабушкой ежегодным ритуалом, а рядом со мной происходит невнятное бормотание с нестерпимым запахом изо рта. Помню, отец в тот вечер просил меня только об одном: присутствовать на его собственных похоронах. Его просьбу я по какому-то вселенскому кармическому закону с успехом проигнорировал, лишь только представилась такая возможность. Естественно, я не мстил ему специально, но, будучи от природы социопатом с легкими признаками аутизма, я и помыслить не мог, чтобы явиться туда, где будет по меньшей мере с полсотни людей, каждый из которых станет не столько отдавать дань уважения усопшему, сколько утешать его безутешных родственников, в числе которых я занимал едва ли не первое место. Похороны отца превратились бы в репетицию моего собственного погребения, с той лишь разницей, что, в отличие от него, я бы прочувствовал каждую фальшивую эмоцию всех участников процесса. Как бы там ни было, мать без каких-либо угрызений совести рачительно позволила остаться мне дома и даже не пойти в школу, выдержав весь ритуал полагающегося траура до конца. Сама же беседа, о которой я уже столь долго веду речь, закончилась приказом отца ударить его несколько раз по лицу, что, полагаю, должно было приблизить меня к реальности взрослой жизни и умению постоять за себя, — и мой маленький кулачок с легкостью скользнул по небритой щеке, после чего я был наконец отпущен на свободу.

Но вам, мои любезные зрители — а именно так дело и обстоит: вы — зрители, перед чьими уставшими душами должна протечь моя мелкая жизнь, небольшой ручеек среди дымящихся водопадов и темных глубоких воронок, — так вот вам предстоит решить для себя непростую задачу, а именно: стоит ли вам слушать того, чей ум может сбить с пути еще неоперившиеся души, лишённые хмурой улыбки Пиррона и шелеста тысяч банкнот. Да, именно так: я утверждаю с абсолютной уверенностью, что нет никакой разницы ме-

жду легкими листками «Пирроновых положений» и такими же воздушными потоками зеленых купюр, ибо и те и другие возводят людские сердца на недостижимую высоту для всякой мысли, чей рассеянный свет покоряется пучинам ночи, словно маленький придорожный фонарь, повернутый лампою вверх.

Я говорю об этом только теперь, потому как вы еще не зашли столь далеко, чтобы думать о неизгладимой скупости и нищете своей собственной жизни, но и не прочли столь мало, чтобы не понять, достойна ли эта книга продолжения в ваших чутких сердцах. И все же мой долг предостеречь вас: решите вы и дальше листать эти тусклые страницы, пути назад может уже и не быть, и вы навсегда попадете в водоворот жизненных перипетий и тревог, которые, словно пришвартованный в бухте огромный корабль, манят своей красотой и величием и в то же самое время пугают необозримой черною бездной, по которой скользит бесстрашный фрегат. Видите ли, у слов есть одно ужасное свойство: они способны убеждать вас в чем-либо, а в особенности в правильности того гиблого пути, которым сам я бреду уже не одно десятилетие, а потому примите все здесь написанное как скверную шутку, чей горький привкус стоит заесть хорошей амнезией по истечении последних страниц.

Итак, отец мой был человеком незаурядным и странным, чья обыденность целиком помещалась в граненый стакан, тогда как бесконечный потенциал его безумной души не смогли бы вместить в себя и все небеса, будь они простерты от холодного Цефея до жарких пределов самого Южного Креста. Историю своего рода я всегда выводил для себя из своего родителя, чему была необъяснимая, но в такой же степени и непреодолимая причина: сколько я ни пытался запомнить хоть что-нибудь о своих дедах и прадедах, наутро я не помнил ровным счетом ничего, да и сами мои домочадцы не особо любили говорить на эту тему, а потому я, наконец, оставил честные попытки узнать историю нашей семьи, удовлетворившись тем скудным знанием, что все трое умерли еще до моего рождения. Эта же участь постигла и моего старшего брата с сестрой, чьи души отошли в иной мир по причине какой-то странной болезни еще в раннем младенчестве, когда я лишь задумывался в светлом лоне Творца. Должен отметить, что их присутствие в своей жизни я обнаружил совершенно недавно, в очередной раз посетив могилу отца и поинтересовавшись, кто именно покоится рядом с ним в соседних гробницах. Конечно, я всегда

знал, что общая фамилия говорит о нашем кровном родстве, но, будучи ребенком, я никогда не обращал особого внимания на эти могилы и не мог себе представить, что под общим названием «дети» — а именно так для меня всегда звучали их имена — покоятся моя собственная сестра и брат от первого отцовского брака. Это стало одним из самых странных ощущений в моей жизни, когда существование впервые явило себя через смерть, и я с успехом обнаружил неистребимость человеческого рода даже спустя два десятилетия пребывания в глубокой земле.

Что ж, возможно, такая туманность на фамильном лице стала причиной, по которой я до сих пор замечаю даже незначительные детали, касающиеся моей собственной жизни, и пытаюсь разобрать себя до самых душевных костей, не оставив ни одного незамеченного фрагмента. Но начинать историю своей жизни с могил в приличном обществе уже давно считается дурным тоном, и вы будете абсолютно правы, затопав передо мной сапогами, а потому позвольте мне вернуться к тем, кто еще способен совершать жевательные движения, рассуждая при этом о глубине бытия.

Надо сказать, что мое неоднозначное отношение к женщинам начало складываться еще задолго до моего рождения, когда бабушка по линии отца ожидала появления на свет именно внучки, а не внука. Впоследствии она частенько наделяла меня унижительным титулом «любимая унучечка» — термином, едва ли переводимым на другие языки мира, но вместе с тем означающим и безграничную любовь к моей персоне. До сих пор удивительно, сколь скромным ребенком я рос при такой всеохватывающей заботе и опеке со стороны окружавших меня дам.

Конечно, бабушка не чаяла во мне души. Но сколь сильно можно гордиться любовью того, кто всякий раз всхлипывает носом при одном лишь виде объекта своих упований? Иной раз казалось, что, не будь меня на этом свете, весь свой любовный порыв она переложила бы на башмак или любую попавшуюся под руку вещь, лишь бы создать отчетливо ощутимый образ самой себя. Каким-то невероятным образом идея жалости в нашей семье сделалась высочайшей ценностью, а сострадание к самому себе стало вершиной мастерства, филигранно отточенного за бесконечными «мокрыми» застольями в тесном семейном кругу.

Впрочем, примеряя к чувствам посмертную маску разумности и холодной обдуманности, я сам совершал неменьший промах, ибо склеивал в одном альбоме фиолетовые оттенки зимнего

неба с теплотой пестрых африканских равнин. Но я не мог всю свою жизнь выступать острым критиком лишь собственных заблуждений, известных мне до мелочей, а потому время от времени делал абсолютно бессмысленные и почти никем не замеченные выпады в сторону вселенских добродетелей, отсутствовавших во время слезливых воскресных семейных вечеров. В такие мгновения я, набирая громкость и пафосность речи, торжественно восставал за столом с обязательным примером из жизни какого-нибудь бедняги, на чей рок выпало несравненно больше бед и лишений, чем на всех присутствующих, вместе взятых, и который сумел выкарабкаться из жизненных перипетий, да еще и послужил примером в сегодняшний вечер, — тогда как сами участники слушаний в конце моего выступления скромно просили меня передать вон тот салат и положить кусочек сыра, в общем соглашаясь с такой справедливой оценкой действительности. Нет, то, что в нашей семье не было ни одного актера, — лишь досадная оплошность, никак не могущая быть высшей волей того, кто создал для нас пустые подмостки.

Подобная помпезность досталась мне от отца, обожавшего преподносить разного рода сюрпризы моей матери и бабушке, когда те полностью сомневались в возможности подобных предприятий. В итоге все были счастливы: отец получал восторженные отзывы в свой адрес вроде «как же ты смог это сделать!», дамы искренне гордились любыми душевными движениями в их сторону. Отца больше нет, но его место на этом троне целиком занято мной, ибо и до сих пор я легок на подъем и готов к любому подвигу для тех, кто лишь одарит меня наименьшими аплодисментами. Впрочем, с возрастом эта моя черта существенно поубавилась, а в детстве я только и занимался тем, что срывал удивление с морщинистого лица бабушки, искренне охавшей от моей двадцатиминутной уборки квартиры, тогда как возложенные на меня обязательства предполагали минимум час упорного надраивания полов.

Впрочем, мои редкие выступления в семейном кругу были лишь трансформацией одной детской фантазии, которой я частенько тешил свое самолюбие многие годы подряд. Насмотревшись американских фильмов и проглотив несколько передач о мировом заговоре, том самом, что ставил во главе нашего мира кучку никому не известных интриганов-миллиардеров, я представлял, будто я один из них, более того — сам я стою на высшей ступени этой эволюции, скрытой от глаз простых смертных. Имя себе я выбрал соответствующее — мистер Блэк.



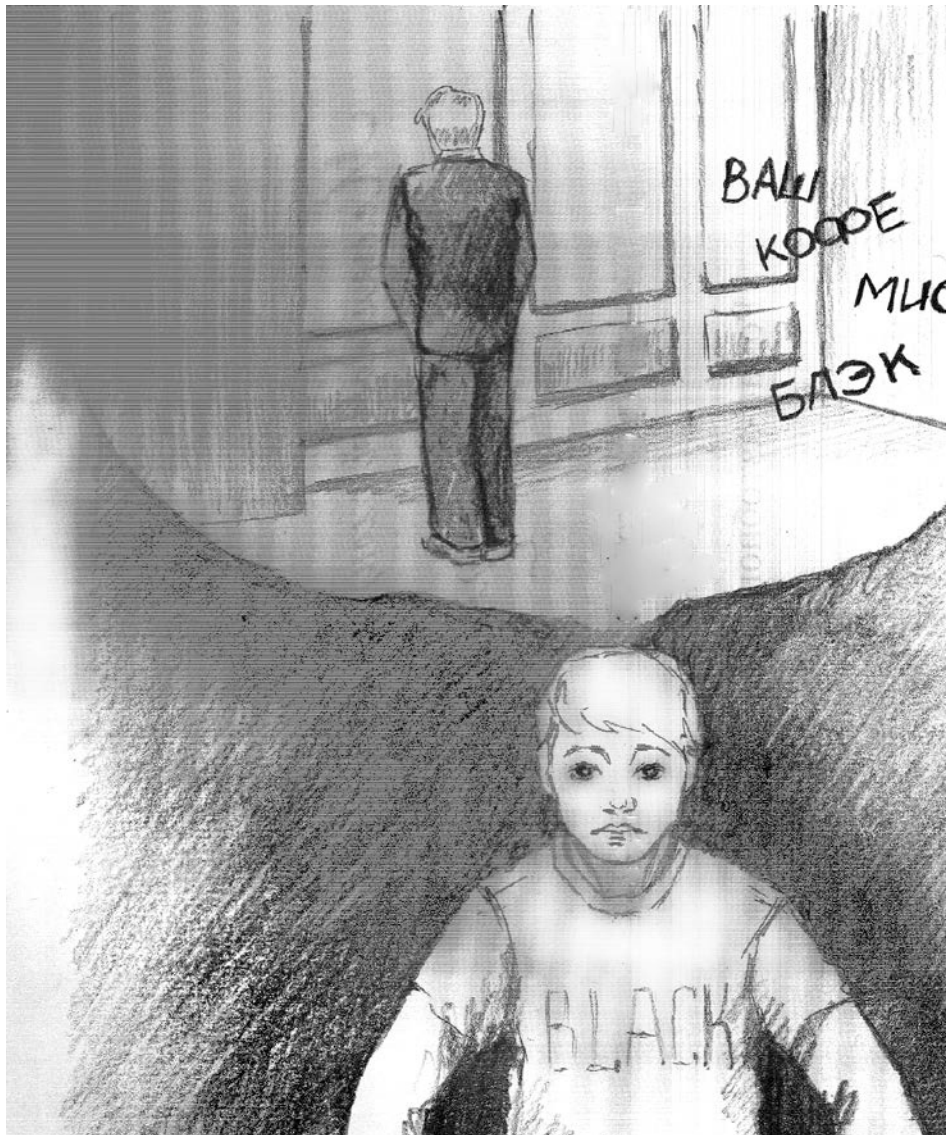


Рисунок Юлии Спасовской

Впрочем, это был псевдоним, настоящего имени никто не знал, даже я сам, настолько таинственно в такие минуты я ощущал самого себя. Садясь за небольшую деревянную тумбу в своей спальне, я грезил, будто это вовсе не тумба, а антикварный аргентинский стол, вырезанный из лучших сортов дуба и покрытый зеленым бархатом, а сам я нахожусь на последнем этаже гигантского небоскреба, стоя у окна с закинутыми за спину руками и глубокомысленным взглядом в бескрайние просторы Лонг-Айленда.

В это мгновение в моем уме обыкновенно рождалась сексуальная секретарша, тем не менее одетая весьма элегантно, и мягким тонким голосом почтительно интересовалась:

— Не желаете ли кофе, мистер Блэк?

И когда я лениво делал отрицательный жест рукой, она покидала меня, полная неистовой страсти и разочарования.

Печальная история. Но именно так старинный дубовый стол превратился в шатающийся праздничный столик, а мой безмолвный ответ длинноногой красотке стал целой тирадой перед внемлющими мне зрителями. Я все еще пребывал на вершине, но вершина эта была столь узка, что стоял я на ней на большом пальце правой ноги, качаясь в разные стороны от собственных вибраций. Впрочем, роль морального обличителя тяготила меня, ибо в ней сочетались и ярое желание помянуть всю вселенную разом — от стола до высших ценностей, — и смутное представление о том, что наступившее бы в нашей квартире царство Божье

отменило бы и должность прелата, которая по воскресеньям переходила ко мне. Знаменитая недосказанность поэзии должна была проявить себя и в моих поступках, когда перед сверкающим огнем истины развивалась бы угрюмая тень нежелающих смотреть на свет. В общем, картина известная и не новая, по большому счету, являвшая собой всю мировую историю в ее революционно-экстатическом беге.

Там, за дубовым престолом моих детских грез и мечтаний, во мне нуждался весь мир, тогда как через десяток лет мое отсутствие не заметят даже в ржавом железном вагоне, загружать который я однажды не вышел по причине простуды. Мистер Блэк испарился, оставив в воздухе лишь теплую серую дымку, которую испускал товарный поезд с загруженной в него детской наивностью и простотой.

Поскольку мои детские годы — равно как и все остальные — прошли под знаком Змеи, что, как утверждают старожилы нашей планеты, означает покой и приятную умиротворенность, вечера я проводил, как и все мои сверстники, особо не выделяясь, играя в футбол в родном дворе. Бабушка жила на первом этаже, и я частенько забегал к ней попить воды или «волшебного кваса», как я сам его называл, — напиток, вкуснее которого я не пробовал в своей жизни. Из-за моих набегов дверь у нее запиралась лишь к ночи, чтобы лишний раз не ломать замок. И вот однажды, в очередной раз забежав за водой, я увидел на полу спальни, находившейся прямо напротив входной двери, отца, одетого в какую-то тельняшку и старые спортивные штаны. Изо рта у него шла белая пена, а сам он прыгал на спине по полу, словно маленький камушек, запущенный в морскую гладь чьей-то резвой рукой. От увиденного я замер в дверях. Должно было пройти десять-пятнадцать лет, чтобы я стал спокойно проходить мимо подобных картин, не вздрагивая ни единой струной моей грубой души. Но тогда я был ребенком. Ребенком, которого тщательно оберегали от всех невзгод и скорбей, существовавших в этом беспечном мире. И первая мысль, которая тогда пронеслась у меня в голове, была о том, что отец умирает, но в то время я еще был слишком далек от полноценного понимания смерти, и мой разум просто застыл соляным столбом при виде ужасной картины. Через мгновение появилась и бабушка, что принесло мне просто божественный покой и умиротворение: нет, отец все так же бился в приступах рвоты, но невозмутимое лицо его матери источало вселенскую уверенность, будто все складывалось так, как и должно, будто вовсе нет никакой угрозы, и

мой мертвый ум может вновь расцвести полевым кустом детских снов и иллюзий.

Закрыв дверь, я сбежал по лестнице вниз, а на следующий день получил короткое объяснение в виде уютной фразы «папе было плохо». Уютной, потому что устраивала всех: взрослым было стыдно посвящать меня в глубокие слои действительности, невольными творцами которой они являлись, а сам я был слишком мал, чтобы желать дубовой правды вместо мягкого ложа покоя и тишины.

Странно, но, несмотря на все увиденное, мне запомнился именно обворожительно теплый вечер, в чьи объятия я прыгнул, лишь только покинул темный холодный подъезд. И цветы абрикосов. Они были повсюду: молочный океан шелестящих на ветру лепестков — и небольшое, едва окрашенное в легкие оранжевые тона облако, висевшее на уже засыпающем небе. Все это промелькнуло в одно мгновение и навсегда застыло в моей памяти яркой акварельной картинкой из детских грез и мечтаний. Там, за стеной, отец бился в приступах пьяных конвульсий, а в тридцати метрах от него цвела жизнь, не обращая ни капли внимания на непозволительно огромный разрыв между разумно устроенным миром и его беспощадным стофутовым безразличием к себе самому.

У каждого человека есть свой маленький пыльный мешочек: из него раз в год он укромно достает различные вещицы, которые остроумные ученые называют воспоминаниями; как по мне — это вовсе не дряхлые тени, томно блуждающие в наших душах в надежде набрести на маленькую музыкальную шкатулку с танцующей балериной и обрести наконец покой в ее чарующей игре. Нет. Мы намеренно извлекаем их из тумана прошлого, чтобы убедиться самим в нашей собственной жизни, которая порой исчезает в однообразии красок, рисующих нашу странную судьбу. Я говорю о тех самых моментах, когда седое пятно памяти разбивается о шлюпку мечты, давая человеку понять, что ничто так не волнует его в этом мире, как собственные воспоминания, целиком определяющие ценность его будущей жизни. Этот парадокс существования ради прошлого, когда даже собственная судьба видится лишь в виде тусклых пожелтевших фотографий, оправдывает жизнь большинства людей, и совершенно неважно, будут ли это красивая стеклянная рамка с застывшей улыбкой на фоне Ла-Манша или глаза ваших собственных отпрысков, — в которое вы сможете смотреться и через десятки лет, никогда не держав в руках фотоаппарата. Прошлое — вот что волнует всех нас на самом деле, и от его все-

поглощающей власти не избавляет даже смерть, ошибочно мыслящаяся веками как омертвевшее будущее. Позвольте же и мне поделиться с вами еще одной такою вещицей, вызванной из сладких дымов моего воображения кипящею жаждой жизни — явления во мне столь редкого, что упустить его было бы настоящим бесчинством.

Речь идет об удивительном доме, в котором я жил недолгое время с мамой и бабушкой, спасаясь от буйства отца. О, что это был за дом! С виду обычная рухлядь, он предстал передо мной словно живое существо, вея какой-то туманной прохладой и гулким молчанием квартир. Открывая наутро глаза, вы находили себя словно в зазеркалье: удивительном, тихом, глубоком, с едва пробивавшимися сквозь ветви редкими лучами света на старинном ковре. Помню, как однажды я буквально обнаружил себя среди этих стен, натолкнувшись на потерянный мир.

Я лежал в холодной влажной постели под тяжелым одеялом. В комнате стоял устойчивый запах сырости и плесени. На подоконнике в старом советском горшке с голубым орнаментом рос тюльпан с рыжим пожухлым пятном на листке, а за окном опавшие листья каштанов мочил мелкий осенний дождь. Несмотря на его шум, было слышно воркование голубей, обживших чердак старого кинотеатра, стоявшего в двадцати метрах от нашего дома. К ночи всем раздавалось по пластиковой бутылке с горячей водой, чтобы хоть как-то нагреть постель, но теперь было уже утро, и вода остыла, из-за чего под водянистым одеялом лежать стало неуютно и зыбко. В этих двухэтажных домах-призраках все было по-другому: я приезжал сюда как в музей, чтобы походить по скрипящим деревянным полам уснувшего дома, где время замирало в тусклой полутьме ноябрьских дождей.

Но я любил эту квартиру не только за осенние дни, создававшие в ней совершенно иной, прозрачный мир. В старом разбухшем баре, встроенном в польскую стенку прямо под полками книг, на которых валяжно расположились Диккенс, Шекспир, Лев Толстой, Сэлинджер, попавший сюда неизвестно каким чудом, хранилось множество странных вещей, создававших ощущение такого существования, которое можно было бы прямо сейчас потрогать руками. В темноте бара стояли несколько старых будильников, в гробовой тишине комнаты и в шуршании капель дождя будто бы шедших в никуда, в самую вечность, и не измерявших здесь ровным счетом ничего, ибо все предметы уже давно застыли в каком-то странном мечтательном сне, пара старых кассет, еще

времен Горбачева, с самодельными, разукрашенными карандашами обложками, календарь за 1968 год с краснощекой девчонкой, державшей багряный советский флажок на фоне желтеющей ржи, и множество выцветших фотографий, на которых лежал белый пластмассовый гребешок с чернильным фиолетовым пятнышком. Этот бар вмещал целую жизнь, какую-то чудную тайну, заставляя меня порой часами рассматривать предметы, раскладывая их на толстом подоконнике, в чьи окна от бури неистово бился промокший каштан.

Теперь все исчезло. Теперь мне известен каждый миг, каждое мгновение моего будущего, пускай и самого туманного из всех на этой земле: вещи стали выражать лишь настоящее, навсегда утратив тот таинственный смысл, хранящий в старом чернильном пятне целую жизнь, распростертую бескрайним полотном в туманную даль прошлого и таким же безбрежным холстом в мое томное будущее.

Но вернемся к отцу. Возможно, вам будет небезынтересно узнать, что, несмотря на расхожее мнение о совершеннейшей потерянности пьющих людей для здорового общества, их неспособности взять себя в руки и всех недостатках, коими только могут быть наделены люди, подобные моему отцу, — все же есть нечто, что выделяет их среди прочих обычных людей куда сильнее, чем очерняющая тяга к спирту. И этой добродетелью является невероятная жажда жизни, сверкающая в их глазах, едва только кто-нибудь из них решается стать на путь истинный и яро клянется в том, что больше в рот не возьмет проклятый портвейн. Стоит этим ребятам переступить черту и на время оказаться на другой, высушенной от всякой влажности стороне, как они становятся милейшими на свете, с энтузиазмом хватаясь за деревянный щит и разя высокие ветряки, чему нам в нашей размеренной жизни порой стоило бы поучиться.

Все это вполне относимо и к моему отцу и целиком объясняет, почему мать, столь долгие годы терзаемая побоями, скандалами и угрозами, все еще лелеяла надежду, что в один прекрасный день мужчина, в котором она когда-то видела лучшего на этой земле, вновь восстанет из пепла. И этот день наступал. С периодичностью раз в месяц отец делал над собой невероятное усилие, приходя к матери абсолютно трезвым, побритым и выглаженным мужчиной, от чьих щек шел приятный аромат свежего одеколона, плакал на ее груди, и та прощала его, после чего все повторялось с начала. Синяки и слезы никогда не покидали нашу семью, и если я не мог повлиять на одно из них, то

уж точно приобрел искреннее презрение ко второму, тем самым как бы цинично морща лоб над долгими кухонными вечерами за закрытой дверью, нередко кончавшимися ударами по столу и невнятными криками. И до сих пор я не верю ни единой капле, сползающей с людских глаз в глубокую бездну сострадания и мученичества, принимая все это за дешевый спектакль, понимая всю степень преувеличения, идущего с моей стороны.

Не знаю, что было хуже — трезвость отца или его пьянство, ведь в обоих случаях чувство глубочайшей тревоги и какой-то совершеннейшей незащищенности овладевало мной до последнего миллиметра моей нежной души: мать всегда была для меня олицетворением прочной стены, за которой я мог чувствовать себя в руках теплоты и покоя, но когда ей самой грозила опасность, могучий щит Зевса таял прямо на моих глазах, превращаясь в легкую морскую волну, отчего я буквально замирал на своей кровати, прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся с той стороны дверей.

Впрочем, дешевый одеколон и выглаженная рубашка были не единственным реквизитом отца в его тщетных попытках наладить собственную жизнь. Однажды вечером я забежал с улицы на ужин, который предвещал приятный аромат жареных бифштексов с кусочками томата и зеленой петрушки, утопающих в приготовленном на молоке картофеле, с ломтем белого хлеба — прекрасного блюда, чья простота радует меня и по сей день. Отец сидел за гладким лакированным столом, за которым я и теперь пишу эти строки, а рядом из красного допотопного «Скифа» раздавался «Дым сигарет с ментолом», служивший явным признаком нескольких рюмок водки, пропущенных ранее душой талантливого, но гибнущего актера. Читателю, не знакомому с содержанием этой великой музыкальной рапсодии конца XX века, едва ли будут ясны и слезы, которые отец всякий раз проливал на словах «хоть не люблю, но целую», естественно, относя весь сюжет песни на свой счет. В то время он уже жил с другой женщиной, не оставляя редких попыток наладить отношения с матерью, всякий раз кончавшихся пьяным нависанием головы над скрипящим из колонок шедевром. Впрочем, сама песня сделалась гимном его души еще до разрыва с мамой, когда все лишь начинало скатываться в пропасть, и привела меня к одному из самых ярких воспоминаний моего детства, одновременно запечатлев кульминацию той трагикомедии, что вечерами разыгрывалась в маленьком *théâtre de famille*.

Прослушав в очередной раз всю композицию до конца и не достигнув никакого эффекта — ибо

и мать и бабушка к тому времени уже имели устойчивый иммунитет ко всякого рода пантомимам, иной раз и сами давая фору любому фанату группы «Нэнси», — отец отправился в ванную комнату, как затем оказалось — с целью перерезать себе вены; естественно, он не затворил за собой двери. Полагаю, такой жест должен был сказать об искренности его любви к моей матери, об истинном раскаянии в продаже фамильных ковров, которые он однажды с успехом выменял на несколько бутылок водки, чем едва не вызвал инфаркт у ошарашенной голыми стенами бабушки, да и вообще — о глобальном сожалении обо всех причинах, так или иначе подтолкнувших его к этому поистине неподдельному жесту.

Но все оказалось иначе. Зрители, которым предназначалось грандиозное действие, попали лишь на его финал, тогда как мне достался билет в первый ряд, да еще и абсолютно даром. Никто не знал, чем отец собирался заняться в ближайшие пару минут, а потому мать спокойно возилась на кухне, а бабушка досматривала программу «Вести» по старому советскому экрану.

Приоткрыв дверь в ванную комнату, я увидел следующую картину: на краю металлической ванной в полусогнутом положении сидел отец в своем старом спортивном костюме, облокотившись о раковину рукой, с которой понемногу стекали ручейки крови прямо под льющуюся воду. От неожиданности я замер в дверях, бросив на него беглый взгляд, вновь на мгновение переведя взор на его окровавленную руку. Такой красной крови я не видел больше никогда: небольшие ручейки на фоне белоснежной раковины делали ее цвет невыносимо ярким: казалось, краснота достигает в них апогея, будто вырвавшееся из глубин пламя, освещенное прямо посреди белых небес. Отец, ванная комната, ведра и мыло, даже яркий свет — все это стухло и стало чем-то туманно-неразличимым, будто камера оператора на миг сфокусировалась на одном предмете, и предметом этим стали красные пятна крови на белом фарфоре.

Эстетическое начало всегда незримо тлеет в моей душе, дожидаясь, видимо, первых ростков в старой ванной, ибо все увиденное не только не напугало меня, но и показалось мне весьма интересным, ведь отец не валялся в муках на полу, умоляя перевязать ему рану, а напротив — спокойно сидел на чугунном ободке, так же невозмутимо наблюдая за стекающей вниз душой. Не знаю, видел ли он «Смерть Марата», но для трагизма ему явно не хватало списка врагов. С другой стороны, верь он в Бога, перерезанные вены стали бы его безответной молитвой в небеса, но отец был скуп на бо-

жественное, хотя и посещал ежегодно церковь на Пасху ночью — традиция, целиком передавшаяся мне по его генам. И теперь, бросив на меня грозный взгляд, он вдруг внезапно произнес:

— Стас, выйди!

Но спектакль был уже сыгран, несмотря на занавес прямо посреди сцены. Тогда я пугливо закрыл дверь и исчез в глубине комнат, с трепетом ожидая его выхода к остальным обитателям дома и неизбежно надвигавшегося скандала. Но теперь бы не сделал и шага. Я бы молча стоял в метре от него, дав ему возможность закончить начатое дело, каким бы ни был этот конец. Что ж, крик и ссоры стали уже привычными в нашей семье, и я вновь был готов к очередному хрипящему басу на двух маленьких плачущих дам.

Кроме того, что отец мой не был поклонником мсье Давида, по всей видимости, не знал он и прекрасных строк Диккенса, сообщавших внимательным слушателям о том, что нет раскаяния более жестокого, чем раскаяние бесполезное. Все редкие встречи, запечатлевшиеся в моей душе, сопровождали лицо моего родителя то неистовым гневом, то вдруг глубочайшей растерянностью, каковую можно обнаружить у испуганных своим проступком детей, а иногда и вовсе изобиловали немой тишиной, когда отец, молча глядя в мои глаза, глубокомысленно не произносил ни звука. Но лишь единожды все эти молчаливые нагорные кресты сменились сладким душевным покоем, который я увидел в его счастливых зрачках.

После представления с кровью и еще множества более мелких сценок мать, наконец, решила развестись. Браку настал конец, но шляпы все еще учтиво были подняты вверх, а потому, дабы сохранить свое лицо, отец предъявил на меня свои права. Но дети, как и любая собственность, слишком ценны для ларьевщика и неприглядны для тех, кто вяло стоит у лотка. Об этом известно мне, об этом знаете вы, и, уверяю вас, отец мой также знал об этом. А потому, столкнувшись со мной однажды на улице, он подозвал меня к себе самым ласковым образом, усадив рядом с собой, и решил обсудить сложившуюся *causa sui*.

Признаний я не ждал. Да и откуда взяться признаниям в общественной жизни коммивояжера, чье шутовство могло стать лишь сухим фактом действительности, а не газетной сенсацией? Существование, отринутое от лона любви, могло бы спасти его от встречи с моей матерью, но я также уверен и в том, что в этом случае я бы никогда не написал этих строк. Итак, передо мной стоял вопрос, с кем же я хочу остаться, но что за ответ мог прозвучать из маленьких тонких уст

бледноватой души, которая уже впитала в себя парниковые условия существования под пристальным взглядом женской опеки? Обратная сторона вопроса сулила грозный взгляд того, кто требовал от меня невозможного: научиться завязывать собственные шнурки, которые к тому времени мне все еще завязывала бабушка. Конечно, я выбрал мать. Выдавлив из себя хлипкое слюнявое «с мамой», я вдруг обнаружил на себе умильный взгляд отца, к моему большому удивлению, вовсе не гневающегося на меня, а скорее обеими руками поддерживающего правильность моего решения. С этого момента я целиком был брошен в шелковые волны женских сердец, чьи колебания и до сих пор отдаются в моей собственной душе гулким стоном цинизма и сухостью глаз.

Должен сказать, что жизнь отца всегда причудливо определяла судьбы тех людей, кто окружал его в его собственных попытках крепко укорениться на этой земле, чего, однако, так и не удалось ему сделать. Но возможно ли было помыслить, чтобы эта незримая нить не окончилась даже после его смерти, оставив неизгладимый памятный след той датой, в которую он отошел в мир иной?

С того дня у меня почти не осталось воспоминаний: я не помню ни хмурости неба, ни ярких лучей весеннего солнца, ни всего того, что происходило после звонка в нашу дверь. Было восьмое число, и на кухне уже стоял праздничный мартовский стол, укрытый красивой накрахмаленной скатертью, к которому из зала я тащил старый дряхлый стул. Едва я опустил его на пол, как в дверь позвонили, и мать побежала встречать бабушку, которая обычно приходила в нашу скромную обитель на все праздники, предписанные нам государством и внутренней традицией нашей семьи. Побежав следом за мамой, вместо бабушки в дверях я увидел старого приятеля моего отца, частенько распивавшего с ним самогон в разного рода кабаках и забегаловках. Надо сказать, что сей господин едва держался на ногах, видимо, уже начав отмечать этот святой для наших людей праздник, отчего я спрятался за дверь, оставив торчащей лишь голову. «Света, Вова умер», — послышалось в дверях, после чего мать в мгновение приложила ладонь к груди и задала самый бессмысленный и распространенный в таких случаях вопрос: «Как умер?» Далее мои воспоминания обрываются, словно я провалился в глубокую темную дыру, не пропускающую в свои просторы даже тончайшие лучики слез и переживаний, наверняка тут же взорвавшихся ярким потоком эмоций моих родных.

Рисунок Настасьи Поповой



Не знаю, что чувствовала мать в тот момент, для которой, похоже, это действительно было ударом, но сам я ощутил невероятное облегчение, которое нельзя было спутать ни с ужасом, ни со страхом, ни тем более с жалостью. Это был конец. Но конец вовсе не отца, чья жизнь закончилась задолго до физической смерти, а долгих бессонных ночей в ожидании пьяного мужа, постоянных криков и бессвязного бормотания в разодранной грязной одежде, побоев и стыда перед знакомыми, время от времени сообщавшими очередные координаты расположения тела родителя в местных кустах, и вообще — всего того, что незримо определяло жизнь нашей семьи в последние годы. «Вова умер», — именно так звучали слова, принесшие в нашу семью новую жизнь, жизнь, в которой слезы от невосполнимой потери едва ли отличались от тех, что проливали бабушка при виде собственных синяков на лице.

Впрочем, смерть отца была необычна лишь датой, тогда как способ и место его ухода в мир иной были столь прозаичны, что моя необыкновенная фантазия взывала к реваншу, пускай и через свой собственный триумфальный конец. Как

же так? Ведь он мог умереть в тихую рождественскую ночь, окруженный табуном прекрасных черных коней и белым сыплющимся снегом, под легкую музыку играющего фортепиано. Именно так я всегда представлял себе свою собственную смерть: где-то посреди диких американских прерий я просто падал наземь, оканчивая свой путь на полпути до не известной мне цели. Впрочем, достаточно было одного того, что я уже отправился в путь, причем обязательно во фраке или черном костюме, который остался у меня еще от образа мистера Блэка. Едва моя голова касалась земли, как тут же вокруг меня буквально из ничего появлялся целый табун вороных коней, мчавшихся в замедленном темпе вокруг бездыханного тела, и все это происходило в сочельник и обязательно в сопровождении воздушной мелодии вроде груберовской «Тихой ночи». Что ж, пожалуй, ради такого невероятного финала стоило бы начать свой путь в таком вероятном месте, как Макеевка, — но закончить его здесь же, замерзнув под старой скамьей, означало лишь больше утвердиться в мире возможного, цепким пленением которого уже давно окутано большинство человечества.

## ГЛАВА 2. ГОЛУБЬ ИЗ ШКАТУЛКИ

**П**редставьте себе часы. Какие угодно, неважно. Скажем, серебристый карманный брегет начала XX века. Вот перед вами циферблат, тонкие, точно волосок, стрелки, чей ход едва заметен невооруженному глазу. Но ведь должно же быть и нечто, что приводит их в движение. Сгорая от любопытства, вы открываете серебряную крышку с собственным вензелем и видите сложнейший механизм, где одна шестерня тащит за собой другую, та — третью, задевая металлический рычаг, в свою очередь цепляющий тонкий крюк на маленьком вертящемся колесе, чье движение с точностью до секунды очерчивает шестьдесят кругов острой, словно копье, стрелкой, прежде чем ее могучий сосед рухнет с высоты полдня на первый обеденный час.

Для чего я обо всем этом говорю? Видите ли, я всегда смотрел на себя как на этот старый брегет, чьи шестеренки, однако, слегка поржавели, некоторые с трудом вертелись, цепочка была отнюдь не серебряной, но который, скрипя и треща, все же шел вперед, каждым движением стрелок напоминая о том слоеном пироге, что хранился внутри, под внешней фабричной картинкой. Смотрите же и вы на эти страницы как на причудливый механизм, с каждым новым словом приводящий в движение те хрупкие части, что станут в конце боем полночных часов.

После смерти отца в нашем доме воцарилось затишье. Но вот странность — однажды мне пришлось слышать рассказ о том, как в одной из местных деревень был установлен огромный пропеллер, необходимый для работы какой-то крупной промышленной фабрики. Рев от лопастей гремящего исполина простирался на несколько километров, и несчастные жители поселка, месяцами лишенные нормального сна, тщетно пытались избавиться от надоедливой соседа. Когда же, наконец, через год фабрику закрыли, а огромный вентилятор разрезали на куски металла и сдали на металлолом, жители стали забрасывать руководство села просьбами вернуть все обратно, поскольку они разучились жить в тишине.

Нечто похожее произошло и с нашей семьей: после того как вам отрежут больную ногу, вы все еще чувствуете ее боль, и лишь смирение, порой превосходящее правду, способно избавить от бесконечных мук прошлого. Но призраки долго не живут. И вскоре место отца было целиком занято теми, кто еще недавно морщился от наигранной щедрости чувств.

Но если мой родитель не пожелал мириться с дешевыми декорациями и в конце концов торжественно объявил протест собственной смертью, то мать, как и полагается добропорядочному гражданину, всегда несла этот крест до конца, стоически перенося все лишения жизни, вместо водки вливая в себя куда более утонченный наркотик — страдание ради любви. С какой-то поры став истинной православной и обзаведясь собственным духовником, она искренне сострадала всем, кто только в этом нуждался, тем самым все дальше забывая в глубины подсознания мысль о том, что и само ее положение заслуживает неменьшего вздыхания и вздымания рук к небесам. И когда бабушка, как всегда со слезами жалуясь на ночной озноб, вдруг посреди лета торжественно объявляла, что у нее грипп, и просила в срочном порядке купить ей жаропонижающие при температуре 37,1, — моя мать просто расцветала на глазах, заботливо-скорбящим гласом произнося фразу «мам, я не вижу здесь гриппа», будто врач-онколог, внимательно смотрящий на снимок головного мозга. В ее внимании нуждались, но и сама она испытывала нужду хотя бы на время забыть о том, что так и не пошла в медицинский и не стала врачом, всю свою жизнь проведя за безмолвно смотрящими на нее желтоватыми бухгалтерскими отчетами и накладными.

Подобные спектакли разыгрывались чуть ли не каждый день на авансцене маленького театра нашей семьи, и поначалу я был недовольным зрителем, гневно бурчащим под нос, что он на ветер выкинул деньги за билет. Но когда число актеров превышает число зрителей в зале — протест безмолвно перерастает в аплодисменты, ведь их всемогущая воля могла объявить меня богом, стоящим лишь в шаге от своего собственного творения, — нужно было лишь самому признать их божественными, тогда как дальнейшее упорство натывалось бы на все худшую игру труппы.

Если мужское начало под четким главенством отца всегда ассоциировалось для меня с чем-то банальным, но внятным, ясным и безапелляционным, то женская мысль предстала передо мной тягучей, липкой и несвязной, словно расплывшийся на солнце кусок эльзасского сыра. Я никак не мог понять, чем же руководствуются эти существа, витавшие вокруг меня, словно добрые духи, в выборе собственных целей, порой поражавших меня до самых основ. Так было и в тот день, когда семейный совет женщин, включавший в себя мать, бабушку и мою тетю, вдруг постановил совершить поход к одной из местных целительниц, коими в то время были просто наводнены наши края.

Причина была существенной — наша жизнь. Неудачи в браке, постоянные ссоры и болезни, преследовавшие меня в детстве одна за одной, финансовое неблагополучие — все это не может не привести здравого человека к мысли о вмешательстве потусторонних сил и не возбудить в нем желания сжечь пару-тройку ненужных жилетов из шкафа. Да и авторитет госпожи Елены — а именно так звали насупившуюся в газетной статье немолодую женщину в широких очках — не мог не производить впечатления: потомственная знахарка из старинного цыганского рода обещала избавить вас от любых проблем, тогда как от вас самих требовался суший пустяк — горячая вера и полсотни гривен.

Подобная духовная эквилибристика моей матери от цыган-вещунов к православию и обратно привела в конечном итоге к тому, что до какого-то момента я никогда не ощущал себя необходимым: ни мое отсутствие, ни присутствие в этом мире не обременяло ни меня, ни сам этот мир, отчего мне все время казалось, что продолговатая линия жизни, начертанная на судьбе каждого человека, уж чересчур скользка и требует добротной присыпки из циничной улыбки и редких душевных страстей. Позднее я отправлюсь рыть могилы, едва покинув философскую кафедру, но теперь для бунта мне все еще не достает основ, которые можно было бы принять за Святое Письмо. Пока я все еще кусок той влажной глины, которой только предстоит стать воплощением воли и фантазии своего творца, и лишь надменно надуваю щеки при мысли о неотвратимости собственного бытия.

Снаружи похожее на руины, здание потомственных магов утопало в тени шумящих тополей, располагаясь на самой окраине города. Несмотря на внешнюю ветхость старого дома, внутреннее убранство отвечало последнему слову техники — стены были выстланы пластиком, что в то время встречалось крайне редко, в холле стояли длинные деревянные скамейки, на которых уже расселось в ожидании чуда множество дам бальзаковского возраста. Не хочу, чтобы вы приписали это моему отношению к женщинам, — но мужчин там действительно не было, и весь коридор был заполнен озабоченными лицами в серых платочках, зачистую изборожденными глубокими сухими морщинами — печатью времени, приведшей их обладательниц в конце своего пути к этим невзрачным дверям. Но я был обманут, ибо ни экстерьер, ни пластик и близко не могли сравниться с тем, что ожидало меня в самой «святая святых» — комнате, где творились чудеса.

Маленькая квадратная келья, размером не более чем три метра, вмещала в себя такое количество блестящих икон и дымящих парафиновых свечей, что мне на секунду показалось, словно я уже попал на прием к Господу и теперь мне предстоит оправдать всю свою шестилетнюю жизнь, в которой я уже успел натворить дел. Вокруг все блестело. Святой Николай, увенчанный короной с красивым изумрудным крестом, смотрел на меня строгим обличающим взглядом. Тут же рядом висела и красная шелковая ниточка, на которой болталось несколько китайских монет с квадратными отверстиями посередине, сквозь них на заднем фоне мелькали глаза Девы Марии и младенца Христа с еще более торжественной и красивой иконы. На небольшом деревянном столе стояло не меньше дюжины маленьких бумажных иконок, но к тому времени мои сведения о небесной иерархии были столь скудны, что всех изображенных я принял за былинных богатырей, стоявших на страже родного отечества.

В каком-то смысле все присутствовавшие в тот день у волшебных дверей были моими ровесниками: теперь мне кажется, что та длинная очередь и вовсе состояла не из взрослых людей и пожилых дам, а из беспечных детей, ожидавших чуда — оживших голубей из только что сплюсненной клетки. И каждый, без исключения, находил для себя их живыми — для каждого неутомимый фокусник вновь и вновь доставал из рукавов своего пиджака новую птицу, трепещущую от полноты жизни, вселившейся в нее волшебством. Во всяком случае, именно так я сам смотрел на все это — распахнутыми глазами ребенка, которого привели на удивительный, необычайный аттракцион, вот-вот обещающий поднять его над прозой и обыденностью детской жизни, и которому вручили за чудесный сеанс разноцветное фруктовое мороженое.

Впрочем, сам фокусник был весьма прозаичен: полноватая немолодая женщина в толстых очках, снимавшая их, едва начинался обряд. Я был разочарован. Я ожидал увидеть за этой дверью мага в сапфировом колпаке, увенчанном десятком ярких золотистых звезд, но вдруг обнаружил вполне привычное человеческое существо, единственным отличием которого от приведших меня дам был до глубины встревоженный взгляд, будто на нашем роду лежали вековые проклятья, а сама «святая Елена» вот-вот собиралась сдвинуть целую гору одной лишь силой мысли или уж точно этой же мыслью согнуть алюминиевую ложку.

Что ж, в конце концов, это была и не южная Трансильвания, а потому три десятка икон и старое



разноцветное платье, окутывавшее сальное тело, вполне годились для местного чародейства, — и сеанс был начат.

Попросив покинуть комнату всех присутствующих, наш маг рачительно запер дверь и, не говоря ни слова, зажег толстую церковную свечу, перед тем взяв в другую руку какой-то молитвенник. Окуривая меня священным дымом, целительница начала двигаться по часовой стрелке, невероятно быстро читая на старославянском языке. Естественно, я ничего не понимал, но после ухода мамы из комнаты и моего пребывания наедине с мелькающей вокруг меня парафиновой свечой мне стало не по себе, и я едва дотерпел до конца сеанса. Впрочем, последний оказался весьма однообразным, и все отведенное для спасения души время госпожа Елена только и делала, что плясала вокруг стула, издавая странные звуки. В довершение ко всему матери продали бутылку со святой водой, специально для снятия порчи, и дали обязательное домашнее задание: сжечь либо закопать в земле часть старых вещей ее отпрыска, равно как и ее собственной одежды, дабы... Черт его знает, как это было объяснено, так как сам я уже стоял за дверью под изумленными взглядами тех, кому лишь предстояло избавиться от житейских забот и проклятий завистливых жен.

Но чудеса на этом не окончились, ибо едва мы вернулись домой, как пыльные углы нашей квартиры были тут же смочены священной водой, после

чего меня ожидала самая приятная и удивительная часть всего представления. Высыпав из шкафа старые вещи, которые я носил два-три года назад, мать отобрала яркую красную жилетку, какие-то черные колготы — уверяю вас, они были не мои, — пару старых перчаток, сложила все это в пакет, и мы отправились в ближайшую посадку, дабы исполнить завет великого мага и навеки закопать родовую порчу и сглаз. Помню, что тот день стал для меня настоящим праздником, ведь я был наивным ребенком, для которого происходящее было не более чем развлечением — все равно как если бы мне дали погладить лошадь, восторг от чего едва ли сравнился бы с закапыванием старых вещей под вечер в лесу.

Сжечь мы их не решились. Это было бы чересчур даже для моей матери. А потому, спокойно выкопав неглубокую ямку у какого-то дерева, торжественно опустили туда мятый пакет, после чего благополучно отправились обратно домой.

Когда я оглядываюсь на свою жизнь теперь, мне все больше кажется, что тот обряд имел какой-то обратный эффект, и до его проведения я чувствовал себя куда лучше, чем сейчас, спустя много лет по его окончании. Впрочем, я нисколько не жалею о том теплом дне, который я провел, смотря на зажженные свечи и копаясь в холодной земле: обыденность и скука еще не раз поселятся в моей душе значительно позже, тогда как в тот день я был действительно искренне, по-детски счастлив.

Продолжение следует.



Диана КОМЯТИ

Меня зовут Диана Комяти. Родилась в 1981 году в Закарпатье, в Ужгороде, в венгерской семье. С 1996 года живу в Венгрии, окончила отделение русской и французской филологии Печского университета. Сейчас работаю в alma mater на кафедре славистики, преподаю русскую литературу XIX — начала XX века. В настоящее время готовлюсь к защите докторской диссертации, посвященной прозе Чехова.

Любовь к русскому языку и литературе возникла с ранних лет. Как только научилась читать самостоятельно, любимыми стали стихи Чуковского («Доктор Айболит» был выучен наизусть) и Агнии Барто, басни Крылова, «Конек-Горбунок» и «Аленький цветочек», сказки Пушкина и его

«Руслан и Людмила», увлекательные приключения Незнайки и Буратино, трогательная история Белого Бима с черным ухом. Были и Твен, и Верн, и другие. Словом, читала много и с увлечением, и все по-русски. Вот и стал русский язык для меня родным, хотя в семье никто никогда по-русски не говорил. И сейчас среди любимых авторов все те же русские писатели и поэты, только посерьезней: Чехов, Достоевский и Солженицын, Тютчев, Блок и Пастернак. А еще интересуется русская философия и богословие, с особым вниманием читаю Бердяева, Флоренского. Одним словом, увлекает все истинно русское, глубоко духовное.

К жизни и ко всему окружающему отношусь как к дару

свыше. Верю, что в каждом событии, в каждой детали повседневной жизни скрывается глубокий смысл, только нужно уметь увидеть его. Этому учит нас Чехов, скрывающий под поверхностью жизненных мелочей важнейшие вопросы бытия, и этому учит Солженицын, показывающий, что даже над лагерями ГУЛАГа сияют звезды.

Творчество Александра Исаевича поражает своеобразием, нераздельным единством исторической достоверности и конкретности образов и глубокого символического, онтологического смысла. А еще, интерес к творчеству Солженицына и к другим произведениям лагерной прозы вызван личными причинами: мой дедушка пробыл шесть лет в лагерях на Колыме.

## МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ПОВЕСТИ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Попытка исследования

**М**ногие исследователи творчества А. И. Солженицына неоднократно отмечали, что отличительная особенность его произведений — неразрывная связь изображаемых с документальной точностью процессов и явлений исторической действительности XX века и скры-

вающегося за этими явлениями глубокого символического смысла<sup>1</sup>. В самом деле, уникальность

<sup>1</sup> См. напр.: Голубков М. М. Александр Исаевич Солженицын (р. 1918): комментарии // Солженицын А. И. В кругу первом. М.: Дрофа: Вече, 2002. С. 5–30; Вознесенская Т. И. Лагерный мир Александра Солженицына: тема,

художественного таланта Солженицына заключается в поразительной способности соединять несоединимое: «С одной стороны, строгий документализм <...>, с другой стороны, глубинная онтологическая символика, которую видит писатель в документально подтвержденных фактах»<sup>1</sup>. Именно поэтому богатый внутренний потенциал произведений предоставляет широкое поле для многостороннего изучения солженицынского творчества и открывает возможность для новых интерпретаций. В настоящей статье представлен один из возможных подходов к исследованию художественного мира А. Солженицына.

Мифологическое сознание представляет собой некую целостную систему, определяющую специфическое отношение человека к окружающему миру. В мифологическом сознании мир воспринимается как священное пространство, поскольку в нем проявляется некая высшая, сверхъестественная реальность, не принадлежащая «нашему» миру. В мифологическом сознании «Космос, во всей его полноте, предстает как иерофания»<sup>2</sup>. В представлении архаического человека окружающий мир, природа, повседневная жизнь наполнены символами, которые открывают ему священную реальность и являются, таким образом, выражением иерофании. Символ, в свою очередь, составляет сущность мифа, созданного мифологическим сознанием; по определению А. Ф. Лосева, «миф <...> всегда прежде всего символ»<sup>3</sup>.

Вместе с тем особенности архаического мифологического сознания не исчезают в процессе исторического развития и сохраняют свою значимость в современном обществе. Претерпев длительный процесс десакрализации, элементы архаического мифологического сознания практически полностью утрачивают «священное содержание», тем не менее продолжают функционировать на уровне подсознания, что позволяет говорить о мифологическом сознании современного человека. Из-

вестный историк религий Мирча Элиаде в книге «Священное и мирское» проводит анализ архаического *homo religiosus* и современного человека. Исследователь отмечает, что современный нерелигиозный человек, отрицая всякое обращение к священному и стремясь «очиститься» от религиозности, является, тем не менее, преемником *homo religiosus*, следовательно, он не может полностью преодолеть своего прошлого, так как сам носит в себе наследие своих предков. «Подобно тому, как “Природа” стала результатом последовательного разрушения священности Космоса <...>, мирской человек есть результат разрушения священности человеческого существования. <...> Мирской человек, желает он того или нет, несет на себе печать поведения религиозного человека, из которой выхолощена, однако, религиозная значимость. <...> Чтобы построить собственный мир, он разрушил святость мира, в котором жили его предки; чтобы достичь этого, он должен был пойти наперекор поведению, принятому до него, он постоянно отрицает это поведение, но оно готово проявиться в той или иной форме из самых сокровенных глубин его души»<sup>4</sup>. Такие, как правило, подсознательные проявления мифологического сознания обнаруживаются как в повседневной жизни современного человека (например, в празднествах по случаю бракосочетания или рождения ребенка, а также в таком феномене современного искусства, как кино, в котором проявляются бесчисленные мифологические структуры<sup>5</sup>), так и в некоторых политических идеологиях, имеющих ярко выраженную мифологическую структуру, например, в нацизме (миф об «арийцах») или коммунизме. Как отмечает Элиаде, Маркс заимствует и развивает один из самых значительных эсхатологических мифов, а именно искупительную миссию Иисуса Христа (мифологический образ «избранника», «помазанника», приписываемый пролетариату), страдания которого призваны изменить онтологический статус мира. Бесклассовое общество Маркса и постепенное исчезновение социальных антагонизмов в точности повторяет известный во многих религиях миф о Золотом веке, который знаменует начало и конец Истории. Таким образом, в мессианской роли пролетариата легко угадывается мифологический мотив последней борьбы Добра и Зла (ср.: Христос и Антихрист в христианской

жанр, смысл // Лит. обозрение. М., 1999. № 1. С. 20–24; Клеофасова Т. В. Творчество А. Солженицына в контексте XX века. In: Между двумя юбилеями (1998–2003): Писатели, критики и литературоведы о творчестве А. И. Солженицына. Альманах. Сост.: Н. А. Струве, В. А. Москвин. М.: Русский Путь, 2005. С. 302–315.

<sup>1</sup> Голубков М. М. Александр Исаевич Солженицын (р. 1918): комментарии // Солженицын А. И. В кругу первом. М.: Дрофа: Вече, 2002. С. 10.

<sup>2</sup> а) Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 18; б) Иерофания (от греч. *ιερός*, «священный» + *φαίνεω*, «проявлять, обнаруживать») — проявление священного. Термин был введен М. Элиаде для обозначения «богоявления» независимо от конкретных религий.

<sup>3</sup> Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. С. 116.

<sup>4</sup> Элиаде, 1994, с. 126–127.

<sup>5</sup> Здесь можно упомянуть такие мифологические образы и мотивы, как, например, Герой-Спаситель или Избранник («Матрица»), различные формы эсхатологических мифов («Армагеддон»).

традиции), долженствующей завершиться окончательной победой Добра<sup>1</sup>.

Мифологическое сознание как основная форма и способ восприятия мира не могло не отразиться в искусстве, в том числе и в художественной литературе. Вопрос о специфике мифа и его роли в генезисе литературы неоднократно поднимался такими исследователями, как А. Ф. Лосев, Вяч. Иванов, М. М. Бахтин, В. В. Иванов и В. Н. Топоров. Согласно Вяч. Иванову, любой нарративный текст можно возвести к некоей праформе или прамифу, что составляет мифопоэтическую основу исследуемого текста<sup>2</sup>.

На основе вышесказанного можно предпринять попытку провести анализ повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» с точки зрения мифопоэтического содержания.

Мифологическая структура произведения угадывается прежде всего на уровне хронотопы. В повести формируются своеобразные пространственно-временные отношения, свойственные мифологическому мышлению. Многие исследователи определяют миф как повествование «о началах», о становлении того или иного факта действительности. По определению Элиаде, миф — это всегда «рассказ о каком-то “сотворении”: о том, каким образом какая-либо вещь состоялась, т. е. начала существовать»<sup>3</sup>; Е. Мелетинский, в свою очередь, отмечает, что основная черта мифа «заключается в сведении сущности вещей к их генезису: объяснить устройство вещи — это значит рассказать, как она делалась; описать окружающий мир — то же самое, что поведать историю его первотворения»<sup>4</sup>. Этим обусловлена специфика мифического времени: в представлении архаического человека, «всякое создание и всякое существование начинается во Времени: до того как вещь не существовала, не могло существовать и ее времени. <...> Именно поэтому всякое созидание воображается как нечто появляющееся в начале Времени, *in principio*. Время возникает с первым появлением новой категории существующего»<sup>5</sup>. Мифическое время — это некое первичное время, которое «не течет», потому что не участвует в мирском течении времени; оно

постоянно одно и то же и представляет собой вечное настоящее — по определению А. Ф. Лосева, «актуальную бесконечность»<sup>6</sup>, — и может быть восстановлено бесчисленное количество раз<sup>7</sup>.

При внимательном рассмотрении в повести «Один день Ивана Денисовича» прослеживается своеобразная структура времени, обнаруживающая общие черты с архаической концепцией мифического времени. В повести как бы отсутствует обычное линейное и необратимое течение времени, мир и находящиеся в нем герои пребывают в постоянном, неизменном настоящем. Отсутствие обычной временной протяженности символически выражено, с одной стороны, в отсутствии часов на всей территории лагеря:

*- заключенным часов не положено, время за них знает начальство (23)<sup>8</sup>;*

*- никто из эков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы? (136);*

а также в понимании «срока» как бесконечности — в восприятии заключенных «срок» предстает как некое абстрактное, неизменное понятие, некий вечный «закон», не поддающийся изменению во времени:

*- конца срока в этом лагере ни у кого еще не было (33);*

*- сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе (57);*

*- он-де (Шухов. — Д. К.) срок кончает — но сам он в это не больно верит. <...> Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, на тебе еще одну (59);*

*- сколько ни молись, а сроку не скинут (141);*

*- поначалу-то очень хотел (на волю. — Д. К.) и каждый день считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают (там же).*

С другой стороны, эффект неизменного, вечного настоящего времени создается посредством особой повествовательной техники. Выбор основного типа повествования — несобственно-прямой речи, отражающей мир через восприятие Шухова, время от времени перемежающейся с неким коллективным, обобщенным мироощущением, выражающим настроение всей 104-й бригады, или незаметно переходящей в авторскую речь, —

<sup>6</sup> Лосев, 2001, с. 174.

<sup>7</sup> Элиаде, 1994, с. 59.

<sup>8</sup> Текст повести цитируется по следующему изданию: Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. М.: Советский писатель, 1963. Здесь и далее номера страниц приводятся в основном тексте в скобках.

<sup>1</sup> Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Инвест-ППП, 1995. С. 181; Элиаде, 1994, с. 128.

<sup>2</sup> Szilárd L. Vjaceszlav Ivanov hermeneutikája. Helikon 1997/3. P. 177–194. Цит.: Kovács M. Zs. «A korlátok közé szorított lét» A. Szolzsenyicin prózájában. PhD disszertáció. Budapest, 2006. P. 13.

<sup>3</sup> Элиаде, 1994, с. 63.

<sup>4</sup> Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 172.

<sup>5</sup> Элиаде, 1994, с. 52–53.

позволяет увидеть лагерный мир изнутри, проводить Шухова на его пути, участвовать в происходящих «здесь и теперь» событиях, переживать вместе с ним каждый момент настоящего времени. Кроме того, ощущение постоянного настоящего усиливается частым употреблением глаголов настоящего времени несовершенного вида, а также самой формой произведения, а именно отсутствием деления текста на главы — этим как бы подчеркивается однородность временного потока.

Таким образом, герои пребывают в неизменном, не убавляющемся, не проходящем настоящем времени. Это время, подобно мифическому времени, постоянно одно и то же, оно лишено протяженности, а следовательно, не подвержено изменению, «течению». Этому не противоречит и тот факт, что в повести изображается не абстрактный, условный, а вполне конкретный день из лагерного срока Ивана Денисовича, день, имеющий четкие границы во времени (от подъема в пять часов утра до второй вечерней проверки в девять вечера), наполненный различными, в том числе и неординарными, событиями<sup>1</sup>. Вместе с тем этот день состоит из ряда постоянно повторяющихся событий, деталей, которые характерны для любого дня из срока Ивана Денисовича: повесть начинается словами «как всегда» и заканчивается фразой «таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три» (144). Эти систематически повторяющиеся эпизоды трансформируют обычный день в цикличное, обратимое, постоянно возобновляющееся время, вследствие чего день из обыкновенного временного интервала превращается в символ космического времени<sup>2</sup>. Весь бесконечный срок, а следовательно, вся жизнь изображается как один день, так как, подобно дню, срок также длится «от звонка до звонка» (ср.: в рамках одного дня: от подъема до отбоя — в сопоставлении с жизнью, с бытием эти понятия приобретают дополнительный смысл начала и конца жизни).

По мере развития действия день постепенно предстает как необыкновенно емкий символ, как квинтэссенция человеческого бытия. Эта особая содержательность дня, как наиболее универсальной единицы времени, была отмечена В. Н. Топоровым: «Основным квантом времени при

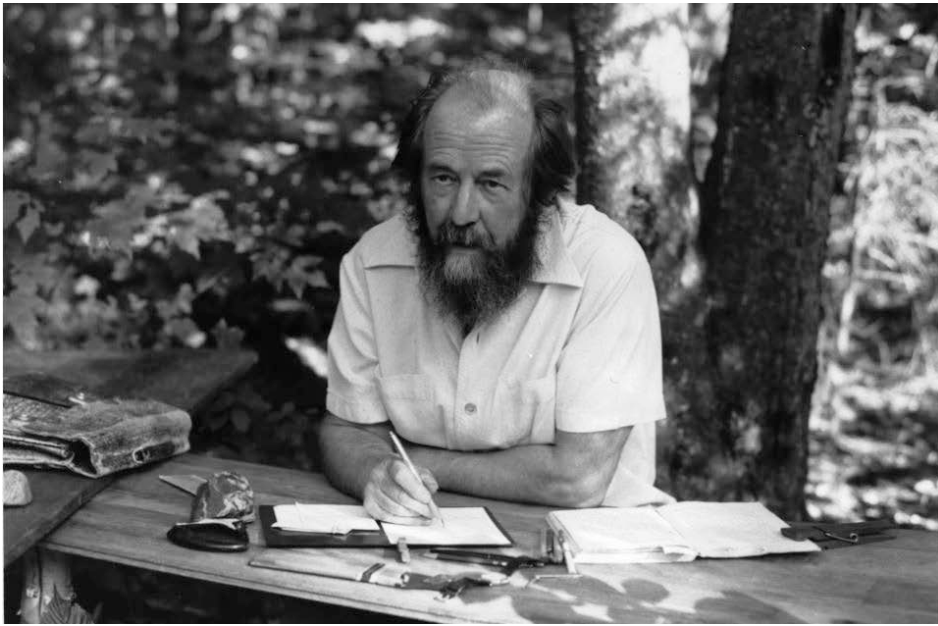
описании исторического микроплана выступает день. <...> С одной стороны, он самодостаточен, самодовлеющ, образует единство, которое, в частности, проявляется в заполненности дня некоей “работой” <...> С другой стороны, день наиболее естественная и с начала Творения (оно само измерялось днями) установленная Богом единица времени, приобретающая особый смысл в соединении с другими днями, в той череде дней, которая и определяет “макровремя”, его ткань, ритм и соотносимую с ними “большую работу”. <...> Благодаря этому “микроплан” времени соотносится с “макропланом”, любой конкретный день как бы подверстывается (хотя бы в потенции) к “большому” времени Священной истории»<sup>3</sup>. Так, в повести Солженицына один день из лагерной жизни Ивана Денисовича сопоставляется с космическим временем, микрокосмос Особлага становится символом макрокосмоса. Значительность дня как концентрации бытия, онтологический смысл соединения «одного дня» с другими днями, его постоянного повторения, возобновления утверждается также за счет вынесенного в заглавие имени центрального персонажа: Денисович — от слова «день». Таким образом, кругообразно повторяющийся, постоянно возобновляющийся день становится основой жизни главного героя, его внутренней сущностью.

Вместе с тем, как отмечает В. Н. Топоров, день является основной единицей времени Творения. В библейской традиции сотворение мира исчисляется шестью днями, каждый из которых завершается чувством удовлетворенности Творца результатом своего творения: «И увидел Бог, что это хорошо» (Бытие 1: 8–31). Нечто подобное возникает и в сознании Шухова, готовящегося к отдыху в конце нелегкого рабочего дня: «Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач <...>. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый» (144). После этого наступает ночь, затем утро (ср.: в Книге Бытия: «И был вечер, и было утро») — начало нового трудового дня, и так далее до конца срока. Подобно тому, как в шестодневе каждый день представляет собой один из этапов процесса мироздания, изображенный в повести день из лагерной жизни Шухова, наполненный работой — а именно кладкой стены будущей ТЭЦ, — является частью той “большой работы” (Топоров), в результате которой на месте Особлага должен быть возведен новый город: “На месте этой вахты и шмона

<sup>1</sup> Урманов А. В. Один день Ивана Денисовича как зеркало эпохи ГУЛАГа. In: «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына: Худож. мир. Поэтика. Культурный контекст: Сб. науч. ст. / Под ред. А. В. Урманова. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 37–77.

<sup>2</sup> Согласно Н. А. Бердяеву, символом космического времени является круг («О рабстве и свободе человека»).

<sup>3</sup> Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. М.: Гнозис, 1995. С. 625 (курсив мой. — Д. К.).



в будущем городе будет главная площадь»» (106). Таким образом, бытовая обстановка постройки «социалистического городка», создателями которого являются Шухов и другие заключенные, в соотношении с мифическим временем приобретает символическое значение **сотворения нового мира, космогонии**.

Что касается мифического пространства, по мнению Элиаде, для традиционных обществ характерно «противопоставление между территорией обитания и неизвестным, неопределенным пространством, которое их окружает. Первое — это «Мир» (точнее, «наш мир»), Космос. Все остальное — это уже не Космос, а <...> чужое и хаотичное пространство»<sup>1</sup>. С этим связано архаическое представление о «своем мире» как о центре Вселенной, через который проходит «мировая ось», связывающая мировые сферы (наиболее типичные образы «мировой оси»: мировое дерево, столб, лестница, гора или холм<sup>2</sup>). Кроме того, противопоставление «своего», упорядоченного и «чужого», хаотичного пространства порождает необходимость защиты от неизвестного, угрожающего внешнего Хаоса, что чаще всего воплощается в образе реки как некоего «рубежа» или «преграды» между двумя мирами.

Если с этой точки зрения взглянуть на художественное пространство «Одного дня...», то можно

<sup>1</sup> Элиаде, 1994, с. 27.

<sup>2</sup> Ср.: бугор (холм), на котором строится ТЭЦ и лестница (трап), способствующая подъему (физическому и духовному) Ивана Денисовича.

обнаружить некоторую общность с архаическим восприятием мифического пространства. Образ одного из лагерей ГУЛАГа, так же как и описание «одного дня» из лагерной жизни, заключает в себе определенную двойственность: с одной стороны, основанное на документальных фактах и личных переживаниях автора реалистическое изображение лагерного мира, с другой — глубинная символика, переносящая этот мир в некое иное измерение. Одной из таких символических деталей является отсутствие точного указания на географическое местоположение лагеря, что практически незаметно, так как в повести упоминаются многие другие географические названия, создающие впечатление исторической, географической действительности (Усть-Ижма, река Ловать, Темгенёво — родная деревня Шухова), но факт тем более значимый, если учесть, что речь идет о вполне реальном, конкретном «острове» ГУЛАГа. Эта неприметная, но весьма значительная деталь, в сочетании с представленными ниже особенностями пространственной структуры, трансформирует предельно сжатый, замкнутый мир Особлага в некое «иное» пространство, некий «параллельный» мир, имеющий точки соприкосновения с реальным миром, но все же существующий сам по себе, независимо от исторической действительности. Это мир, который есть, но его как бы и нет; шуховский Особлаг на самом деле *ou-topos* в буквальном значении этого слова, «место, которого нет». Отсюда лишь один шаг к обнаружению глубинной связи «Одного дня...» с антиутопией,

однако этот вопрос уже выходит за рамки настоящей статьи.

Мир Особлага воспринимается его обитателями как «наш мир», как освоенное, упорядоченное пространство, некий Космос, подчиняющийся определенным законам. Впечатление «своего мира» усиливается также посредством восприятия бригады как большой семьи: «Она и есть семья, бригада» (73), где в роли отца-кормильца выступает бригадир, от расторопности которого зависит благополучие всей семьи: «бригадир в лагере — это все», «кормит — ничего, о большой пайке заботлив» (41), «он кормит, бригадир» (77); а все заключенные — братья: «брат-зэк» (42), «два эстонца, как два брата родных» (45); лагерь же воспринимается заключенными как дом:

*- Сейчас расстегивать не страшно, домой идем;  
Так и говорят все — «домой»;*

*О другом доме за день и вспомнить некогда (106).*

Пространство, находящееся за пределами этого мира, представляется как пустынная, неосвоенная земля, чуждое, угрожающее, неизведанное пространство, пребывающее в зачаточных условиях Хаоса:

*- голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного (38);*

*- свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло (63);*

*- степь голая <...>, снег под месяцем блещет (102).*

Не случайно, что с этим пространством связаны такие мотивы, как темнота (ночь), мгла, пустота (ср.: Бытие 1:2: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»), бесплодность, безжизненность, холод, снег, никогда не прекращающийся ветер, иногда переходящий в буран, которого так ожидают, «молят» зэки — олицетворение стихийного, разрушительного, хаотического и вместе с тем освободительного начала. Некоторые из этих мотивов весьма характерны для русской литературы XIX–XX веков, в них выражены некие эсхатологические предчувствия, связанные с будущей судьбой России, всего мира: вьюга, белеющие равнины Пушкина («Бесы»), ветер Тютчева («О чем ты воешь, ветр ночной...»), ветер, вьюга, белый снег у Блока, «ледяные равнины», «ветр полярной Преисподней» Волошина («Северовосток») или бесплодные пустынные пространства Айтматова («И дольше века длится день»). Все эти детали, связанные с внешним миром, усиливают восприятие Особлага как «своего мира», находящегося в центре Вселенной, окруженного неведомым, неопределенным пространством.

Лагерный мир имеет много общего с традиционным пониманием Мира, Космоса. Для защиты установленного миропорядка служит колючая проволока — трансформированный образ «рубежа» миров. Пересечение этой черты практически невозможно, и если даже происходит, то это означает безвозвратный переход из одного мира в другой — тот, кто попадает за ее пределы, навсегда уходит из «этого мира»: «через проволоку <...> уходили. Недалеко, правда» (47), «если кто бежал <...> так иногда разъярятся — не берут беглеца живым» (99). В традиционных представлениях символом «перехода», границей, разделяющей два мира, являются так же порог, дверь или ворота. У порога есть свои «стражи», хранители, защищающие вход от вторжения злых сил; прохождение через порог/ворота сопровождается различными обрядами<sup>1</sup>. Устройство лагерного мира, продвижение из одного пространства в другое (из лагеря в степь, из степи в зону «объекта») сильно напоминает традиционные представления, связанные с неоднородностью пространства: перемещение с одного объекта на другой возможно только через ворота, тщательно охраняемые «стражами» (надзиратели, вахта), и сопровождается определенными «ритуальными» действиями: шмон, арестантская «молитва». В произведении неоднократно упоминаются особенности построения лагерных ворот: «Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота» (35), «прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника» (110), «всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтоб, если зэки и толпой... на них наперли, не могли бы высадить» (109). Такое устройство лагерного входа напоминает архитектуру христианского храма, где важной частью входа является притвор (нартекс), отделенный — от внешнего мира и внутреннего пространства храма — воротами/дверью и символизирующий область земного бытия<sup>2</sup>. Элиаде также отмечает, что дверь церкви, обозначающая разрыв связи между пространствами, всегда открывается вовнутрь,<sup>3</sup> способствуя таким образом переходу из мирского (внешнего) пространства в священное (внутрен-

<sup>1</sup> Элиаде, 1994, с. 24.

<sup>2</sup> Трехчастное деление храма «притвор — собственно храм — алтарь» в некотором смысле повторяется в «архитектуре» лагеря: предзонник, где совершаются «ритуалы перехода», — собственно зона, где происходят основные действия лагерной жизни, — санчасть как «святыня», расположенная в самом дальнем углу лагеря, куда не проникают звуки лагерной жизни, поражающая своей ослепительной чистотой, белизной и тишиной, вход в которую возможен только для «избранных».

<sup>3</sup> Там же.

нее). Кроме того, по мнению исследователя, храм представляет собой космическую Гору (т. е. центр Вселенной, мировую ось — *axis mundi*)<sup>1</sup> и таким образом является в наилучшем виде «связующим звеном» между Небом и Землей<sup>2</sup>. В предельно десакрализованном микромире Особлага место храма занимает профанное здание ТЭЦ, возведенное на «бугре» — атрофированном образе космической Горы. С другой стороны, параллель между архитектурой христианского храма и структурой лагеря трансформирует микромир Особлага в некий *axis mundi* и подчеркивает соотнесенность этого микромира с макромиром, подобно тому, как христианский храм воплощает в себе образ мира, вселенной, Царства Небесного.

Здесь хочется подчеркнуть, что появление в тексте приведенных выше деталей не обусловлено исключительно мифологическим смыслом произведения. Разумеется, такие элементы лагерного мира, как ограда, ворота, карцер или надзиратели, были неотъемлемой частью советских трудовых лагерей, а следовательно, при описании жизни заключенных трудно обойти стороной эти факты исторической действительности. Однако в целостном художественном мире произведения реалии лагерного быта приобретают некую «прозрачность», открывающую вид на более широкие, онтологические перспективы<sup>3</sup>.

Вместе с тем именно сходство между храмом и лагерем как нельзя более наглядно демонстрирует непреодолимый разрыв между двумя мирами, представленными их *axis mundi*. Жизнь религиозного человека протекает в «открытом» мире, в котором, благодаря *axis mundi*, возможно сообщение между мировыми сферами: мировая ось открывает путь вверх, в божественный мир, и вниз, в нижние области мироздания. Приобщение человека посредством обрядов к трансцендентному миру делает его существование «открытым в Мир», то есть жизнь его приобретает еще одно, «трансчеловеческое», «космическое» измерение<sup>4</sup>. Наиболее полным выражением единства, «открытости» Вселенной является храм, соединяющий в себе мировые сферы, через приобщение к божествен-

ному отражающий священность мира и одновременно освящающий мир<sup>5</sup>.

Открытости храма противопоставляется предельная закрытость лагерного мира. В этом ограниченном, горизонтальном пространстве нет связи между мировыми сферами, нет возможности приобщения к «иным» мирам, вследствие чего существование становится одноплоскостным и утрачивает вертикальную направленность, поскольку движению вверх-вниз препятствуют труднопреодолимые барьеры. Разрушение связи с «верхним» миром выражается в начале повести в «опустошении» неба лагерными фонарями — «лжесветилами», преграждающими путь в высшие сферы: «было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды» (21). Движению вниз препятствует мерзлая, твердая, непроницаемая земля, в которой лагерники тщетно пытаются выдолбить ямки для столбов (!): «Земля та и летом как камень, а сейчас морозом схваченная, пойдя ее угрызи. Долбают ее киркой — скользит кирка, и только искры сыплются, а земля — ни крошки» (50). Следовательно, лагерный мир закрыт в горизонтальной плоскости: с одной стороны, как место заключения, он окружен колючей проволокой, с другой — этот мир изъят из временной горизонтали, то есть утратил живительные связи с прошлым. Стремление сокрушить, забыть прошлое, отречься от него — что характерно не только для лагерного микромира<sup>6</sup>, но и для макромира, воплощенного в образе Особлага, — приводит к разрушению священности Космоса и, следовательно, к исчезновению вертикального измерения бытия<sup>7</sup>. Перспективы бытия — и пространственные (колючая проволока, зона, барак, карцер), и временные (если нет прошлого, возможно ли будущее?) — сужаются, существование сводится исключительно к человеческому масштабу, теряет свою «прозрачность» и становится закрытым. Мир, из которого изгнано все священное, «трансчеловеческое», превращается в тюрьму, жизнь — в лагерный срок, творчество, созидательный труд — в каторжную работу,

<sup>5</sup> О символике храма подробнее см.: Элиаде, 1994, с. 43–46.

<sup>6</sup> «И какой рукой креститься, забыли» (19), «О другом доме за день и вспомнить некогда» (106), «И вспомнить деревню Темгенёво и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний» (112).

<sup>7</sup> Вероятно, не случайно проблематика «памяти», «прошлого» становится одним из центральных вопросов ряда произведений советской эпохи, а также многих антиутопий. Достаточно вспомнить такие произведения, как «В круге первом» А. Солженицына, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова или «1984» Дж. Оруэлла.

<sup>1</sup> Этой соотнесенностью храма и космической Горы — центра «нашего мира», Вселенной — вероятно, может объясняться обычай строить храмы на возвышенностях.

<sup>2</sup> Элиаде, 1994, с. 32.

<sup>3</sup> Словами П. Рикера, «символическое скорее находится между символами как их отношение и структура этого отношения» (Рикер П. Структура и герменевтика. In: Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2002. С. 98. Курсив мой. — Д. К.).

<sup>4</sup> Элиаде, 1994, с. 31; с. 104.



дом — в барак, а хлеб — в пайку (ср.: «<Алеша:> Из всего земного и брэнного молиться нам господь завещал только о хлебе насущном: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь!” — Пайку, значит? — спросил Шухов» (140)<sup>1</sup>.

Как об этом упоминалось выше, профанизированный мир лагеря сохраняет в себе множество мифологических символов и структур. Мы подробно остановились на таких «пережитках» архаического мышления, как мифическое время и пространство, противопоставление между «нашим миром» (Космос) и окружающим пространством (Хаос), и связанные с этой оппозицией символы: рубеж/ограда, ворота, мировая ось. Сопоставление мифических представлений о Космосе с особенностями лагерного мира привело нас к выводу, что сам лагерь представляет собой некий центр, *axis mundi*, являющийся проекцией макрокосмоса, то есть того исторического «макроплана» (Топоров), точкой опоры которому служит как сам этот «остров» ГУЛАГа, так и весь архипелаг в целом. Лагерный мир сохраняет символы сакрального, однако, утратив внутреннее содержание, эти символы обращаются в свою противоположность: ограда, ворота и стражи этого мира не служат более для защиты его обитателей от потусторонних злых, угрожающих сил, но, наоборот, препятствуют выходу внутренних «опасных элементов» во внешнее пространство; деформированные обряды (шмон, арестантская «молитва») не способствуют возвышению человека и приобщению его к сфере божественного, но служат средством унижения и надругательства над человеческой личностью.

Подобное искажение архаической символики наблюдается в ритуале посвящения, играющего важную роль в формировании религиозного человека. Посвящение — основной ритуал «перехода», в котором возрождение к новому статусу и высшему уровню бытия происходит через символическую смерть в «предыдущей» жизни. Вместе с тем «посвящение настолько тесно связано со способом человеческого бытия, что значительное число поступков и действий, совершаемых современным человеком, все еще повторяет сценарии посвящения»<sup>2</sup>. Здесь мы не станем вдаваться во все подробности по поводу архаических

ритуалов инициации<sup>3</sup>, а остановимся только на тех деталях, которые поразительно напоминают принципы функционирования советских спецслужб и исправительно-трудовых лагерей, а следовательно, обнаруживаются и в «Одном дне Ивана Денисовича». Согласно описанию Элиаде, церемония инициации начинается с того, что неопита забирают из семьи и уводят в глушь леса, таким образом в ритуале уже с самого начала присутствует мотив смерти<sup>4</sup>. Не с этого ли начиналось и «посвящение» в мир ГУЛАГа? Обряд инициации во множестве случаев сопровождается пытками, физическими страданиями, нанесением увечий (вырывание зубов, отрубание пальцев), символизирующих смерть — необходимое условие перехода к новой жизни<sup>5</sup>. Обсуждение физических и психических истязаний во время следствий в советских тюрьмах не входит в цели данной статьи, поэтому ограничимся лишь указанием на «увечья» — внешние знаки, указывающие на «посвященность» Шухова и других заключенных в лагерный мир и их смерть для прежней жизни:

- (Шухов. — Д. К.) улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прорезанных цингой в Усть-Ижме <...>. Теперь только шепелявень от того времени и осталось (17);

- (Фетюков. — Д. К.) недобро усмехнувшись ртом полупустым (46);

- Зубов у него (старика Ю-81. — Д. К.) не было ни сверху, ни снизу ни одного (123);

- Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь. А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой (134).

Исследователь отмечает также, что во многих районах «возводят специальную хижину для посвящения. В ней юные кандидаты проходят часть испытаний и обучаются секретным традициям племени» (Элиаде, 1994, с. 118). Такая «хижина для посвящения» есть и в Особлаге — БУР (барак усиленного режима), сооруженный в целях более эффективного усвоения заключенными правил поведения лагерного мира. В БУРе проходит свой «обряд посвящения» кавторанг Буйновский, прибывший в лагерь совсем недавно и еще не знакомый с законами лагерного мира. Испытание десятью сутками строгого режима необходимо для того, чтобы посвятить капитана

<sup>1</sup> Ср.: у Бердяева: «Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости “мира”, но движение вверх или вглубь по линии внемирной, движение в духе, а не в “мире”» (Бердяев Н. А. Смысл творчества. In: Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 254. Курсив мой. — Д. К.).

<sup>2</sup> Элиаде, 1994, с. 129.

<sup>3</sup> Подробнее о ритуалах «перехода», в том числе об инициации, см.: Элиаде, 1994, с. 115–125.

<sup>4</sup> Элиаде, 1994, с. 118.

<sup>5</sup> Там же.

в лагерные «традиции», усмирить его «буйный» характер и превратить его «из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы» (69). Важным элементом обряда посвящения является также получение нового — настоящего — имени<sup>1</sup>: при переходе в лагерный мир зэки также получают новые имена — обезличивающие цифровые и буквенные обозначения, которые заменяют их собственные имена, умершие вместе с их прошлой жизнью, их прежней сущностью. Как видно из приведенных выше примеров, вступление в лагерный мир повторяет сценарий ритуала инициации, однако, подобно предыдущим архаическим символам, оно превращается в свою противоположность: в перевернутом мире Особлага ритуал посвящения способствует не возрождению к новой жизни и приобщению к полноправным членам общества, а наоборот — угнетению, порабощению и лишению человеческих прав.

С точки зрения мифопоэтического содержания, пожалуй, одним из наиболее емких символов в повести является акт созидания, строительства «объекта» — будущего соцгородка и будущей ТЭЦ, заполняющий большую часть дня Ивана Денисовича и составляющий центральное действие повести. Ранее уже говорилось о том, что миф представляет собой рассказ о «началах», повествующий о становлении того или иного факта действительности. Поэтому, без сомнения, в любой мифологии важнейшее место занимают космогонические мифы, рассказывающие о происхождении Космоса, описывающие созидательные деяния богов, совершенные *in illo tempore*<sup>2</sup>. Согласно утверждению Элиаде, в мифологическом сознании овладение новой территорией предполагает ее «ограждение» и упорядочение, таким образом, воспринимается как сотворение «своего мира» и воспроизводит космогонию: «Неизвестная, чужая, незанятая <...> территория еще пребывает в туманных и зачаточных условиях “Хаоса”. Занимая его и особенно располагаясь в нем, человек символически трансформирует его в Космос путем ритуального воспроизведения космогонии. То, что должно стать “нашим миром”, нужно сначала “сотворить”, а всякое сотворение имеет одну образцовую модель: Сотворение Вселенной богами»<sup>3</sup>. Следовательно, занимая новую территорию и создавая «свой мир», человек

приобщается к богам, поскольку повторяет божественное творение.

В повести Солженицына наблюдается аналогичная ситуация овладения новой территорией, которая, на основе вышесказанного, может восприниматься как некий акт космогонии, сотворения мира: «Шухов вспомнил: сегодня судьба решается — хотят их 104-ю бригаду фугануть на новый объект “Соцбытгородок”. А Соцбытгородок тот — поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить» (11). В этом отрывке содержится немало символов, отражающих мифологические представления о сотворении мира: *голое поле* — воплощение хаотического начала, неизведанная, чужая земля, ожидающая преобразования, космизации; установление *столбов* — основополагающий акт, соответствующий в мифологическом сознании возведению космической оси, вокруг которой начинается освоение — «сотворение» — нового мира; *колючая проволока* — ограждение создаваемого мира от окружающего, еще не космизированного пространства; *будущий город* — как некое *imago mundi*<sup>4</sup>; и *строительство* — как повторение мифического акта творения, воспроизведение космогонии. На основе вышесказанного повесть предстает как некий **космогонический миф**, в форме бытовой сцены постройки соцгородка повествующий о строительстве социалистического будущего и тем самым — пользуясь приведенным в начале статьи определением Мелетинского — объясняющий чудовищную сущность грядущего «Золотого века». «Один день Ивана Денисовича» — это некоторого рода художественный опыт создания новой мифологии, объясняющий, каким образом мир, долженствующий стать миром совершенного общества и абсолютной свободы, без «внемирной» направленности и духовной ориентации превращается в свою тотал(итар)ную противоположность — в мир заточения и порабощения, колючей проволоки и железного занавеса<sup>5</sup>.

Однако парадоксальным образом именно строительство «объекта», этот профанизированный акт «со-творения», свидетельствует о том, что

<sup>4</sup> Лат. «картина мира» (Элиаде).

<sup>5</sup> При внимательном рассмотрении в повести можно обнаружить глубинные связи с карамазовской поэмой о Великом Инквизиторе, где Инквизитор, отвергающий завет Христа и с самопожертвованием принимающий на себя бремя свободы во имя мнимой любви к человечеству, становится прообразом тоталитарного правителя, и только в молчании Христа открывается источник истинной свободы.

<sup>1</sup> Элиаде, 1994, с. 119.

<sup>2</sup> Лат. «в те (древние) времена» (Элиаде).

<sup>3</sup> Элиаде, 1994, с. 28.

даже в предельно десакрализованном лагерном мире человек сохраняет ориентацию к высшему миру, а следовательно, и стремление к восстановлению духовной свободы и вертикальной оси бытия. Во время кладки стены ТЭЦ Иван Денисович переживает необыкновенный творческий порыв, заставляющий его забыть о морозе, голоде и физическом недуге и дарующий, хотя бы на короткое время, духовную свободу, чувство собственного достоинства и ощущение пусть хрупкой, но истинной общности с окружающими его людьми («людьми» в том смысле, в котором понимает это слово Павло: «Поспокойнэй! — Фетюков шипит <...> — Людей в постелях режут! Поспокойнэй! — Нэ людэй, а стукачив! — Павло палец поднял, грозит Фетюкову» (61):

*- Шухов и другие каменички перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, потягивающий — не могли их мыслей отвлечь от кладки (83).*

Этот духовный подъем сохраняется до конца рабочего дня, и засыпает Шухов с чувством удовлетворения прошедшим днем, самим собой и своей работой.

Творческий труд, вопреки любым обстоятельствам, предоставляет возможность человеку возвыситься над окружающим миром, приобщиться к божественному творению и стать «со-творцом» Бога: «В творчестве сам человек раскрывает в себе образ и подобие Божье, обнаруживает вложенную в него божественную мощь <...>. Творческая свобода, свободная мощь открывать себя в творчестве заложена в человеке как печать его богоподобия, как знак образа Творца»<sup>1</sup>. Неистребимая сила духовного начала как нельзя лучше выражается в повести в победе небесных светил над фонарями зоны: «Высоко месяц вылез! <...> Небо белое, аж с сузеленью, звезды яркие да редкие <...> и фонари мало влияют» (135). Таким образом, повесть «Один день Ивана Денисовича», посредством скрытых в ней мифологических структур и символов, наглядно показывает, что стремление к высшим моральным ценностям и вертикальной направленности бытия неотделимо от самой природы человека, поэтому система, пытающаяся уничтожить духовное, божественное начало в человеке, в основе своей античеловечна и изначально обречена на падение.

<sup>1</sup> Бердяев, 1989, с. 329.



Хелью РЕБАНЕ

Продолжение. Начало в № 7–12 за 2014 год

## ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ

### ПОВЕСТЬ<sup>1</sup>

Рисунок Эдуарда Дудина

#### 21.

Когда я вернулась из подземного сумрака океанариума в солнечный день, к старинному белому зданию океанографического музея подъехал битком набитый галдящими туристами (конечно же, итальянцы звучали громче всех) паровозик с открытыми вагончиками, который курсировал от одной достопримечательности Монте-Карло к другой.

Чудом втиснулась в свободный уголок, и игрушечный состав, бодро прозвенев, с ветерком покатился по серпантину, петляющему по склонам крутой горы. Мы лихо поднимались, так же лихо спускались, а в результате все же продвигались все выше и выше, к знаменитому на весь мир казино «Монте-Карло», которое непременно следовало посетить, как мне наказали и Раиса, и путеводитель.

Итальянцы шумели, их дети галдели, напоминая мне шустрога Микеле, а родители (одна такая пара с двумя детьми сидела как раз напротив меня), по-видимому, исповедовали принцип свободного воспитания детей: не одергивали их, не призывали к порядку.

«Что посеете, то и пожнете. Европейцы в основном от свободного воспитания детей уже отказались. Моя тетя Альвина теперь себе локти кусает», — почти сочувственно думала я, глядя на эту оживленно беседующую красивую итальянскую пару, в то время как их черноглазые отпрыски заливались хохотом, вертелись и егзили грязными сандалиями, в которых они забрались на сиденье по моей утром еще белоснежной юбке. Стоя на коленях, милые детишки пальцами показывали на все, чего они раньше никогда не видели. То есть — решительно на все.

Здесь не только *налоговый рай*, подумала я, обратив взор на белые яхты, *припаркованные* у причала далеко внизу, на поблескивающее от солнца море. Итальянские *чертенята* не помешали получить *райское наслаждение* от созерцания этих красот.

Выйдя вместе с шумной компанией из игрушечного поезда, я сначала обошла казино и со всех сторон сфотографировала роскошное (опять это слово!) здание с красивыми люстрами, висящими прямо на улице под широким длинным козырьком перед входом. Затем, поплявшись себе проиграть здесь не более шестидесяти франков (мне все-таки из-за рубежа надо домой добрать-

<sup>1</sup> Журнальный вариант. Полный текст повести будет издан отдельной книгой.



ся), вошла внутрь, в приятную прохладу большого холла. Собственная душа, безусловно, крошечные потемки, но то, что я человек азартный, я все-таки уже подозревала.

Меня не перестает удивлять, что существуют люди, которые выигрывают в лотерею и даже умеют что-то выиграть в казино. Это, конечно, не противоречит теории вероятности. Но я почему-то не из этих, теория обошла меня стороной или же, наоборот, решила именно на мне подтвердить свою отрицательную достоверность. Поэтому я давным-давно перестала покупать лотерейные билеты, уверовав в то, что только сам человек кузнец своего счастья. Чего не скажешь об Альвине, которая постоянно приобретает лотерейные билеты и говорит, что судьбе надо дать хоть какой-то шанс.

С другой стороны — не везет в картах, повезет в любви. Ага. Если то, что у меня происходит со Стасом, назвать везением, то что же в таком случае невезение?

Ознакомившись в холле казино с преискурантом, я поняла, что путь в дорогие залы с рулетками мне заказан, мне остается только зал одноручных бандитов.

Обменяв шестьдесят франков на жетоны, я уселась перед свободным автоматом, выяснила,

что выигрыш — это когда одновременно выпадут либо три Bar, либо три Money-Maker. Либо — три семерки, как самый крупный выигрыш.

За соседним автоматом, стоявшим почти впритык к моему, сидела престарелая мадам с волевым мужеподобным лицом с крупным орлиным носом. Ее нестандартная внешность невольно привлекла мое внимание, и я исподтишка поглядывала на нее. Все в ней было как-то нескладно: непропорционально большие и длинные руки и покатающаяся спина. Загорелые руки ее были испещрены коричневыми старческими пигментными пятнами. Но игроком она была опытным. Поиграв на своей машине, она дождалась, когда у меня закончились жетоны, и стала играть на двух машинах сразу. Моя машина мне не дала, а забрала у меня шестьдесят франков (ни «бар-бар-бар», ни тем более три семерки мне не выпали).

Я понимала, что по теории вероятности рано или поздно моя машина тоже что-нибудь даст. Она и дала. Как вы думаете, кому? Конечно же (это согласуется с теорией), тому, у кого было больше денег и кто, соответственно, имел возможность сделать большее количество попыток. То есть — соседке. Я была вынуждена выйти из игры — закончились жетоны. Правда, поколеба-

лась, не нарушить ли данную себе клятву, не обменять ли на жетоны еще франков тридцать. Я не верила, что судьбе хочется дать мне шанс.

Вдруг из соседней машины в длинное узкое металлическое корыто с грохотом посыпались монеты. Целый дождь. Они все сыпались и сыпались. Машина все *давала и давала*. Мадам выиграла. Скоро корыто было в несколько слоев устлано монетами.

Вот. Даже машина дает тому, у кого больше денег...

«Все то же самое, только в более роскошных интерьерах», — подумала я, выйдя из *знаменитого на весь мир казино*.

Мне хотелось спокойно прогуляться по городу-государству, но *обязательная программа* не позволяла расслабиться. Надо непременно еще сходить на могилу Герцена в Ницце и съездить в Канны. И тогда — снова TGV, ночь в Париже. Аэропорт Шарль-де-Голль и... прощай, Франция. А как же княжеский дворец Монако?

Я снова села в веселый поезд и вернулась к дворцу. Очередь перед ним исчезла, но, увы, кассы были уже закрыты. Я была в правильном, конечно, месте, но в *неправильное* время. Собрать воедино бар-бар-бар или три семерки и здесь не удалось. А что такое удача? Это когда *удается*. По сути дела, и в жизни, когда человеку выпадает бар-бар-бар, великая машина, именуемая *судьбой*, принимается ему давать и давать...

На площади перед дворцом был еще открыт большой одноэтажный магазин сувениров, куда я и зашла. Купила настенную тарелку с гербом Монако, телефонную карту и духи «Ваниль». Меня определенно тянуло на ваниль — дома у меня все было ванильное или медовое: шампунь, пена для ванн, мыло. Пусть в парном воздухе среди облачков аромата засохшей мочи в *вопиюще скромном* привокзальном районе Ниццы прохожие будут набредать на облачко ванили. Это будет мой посильный вклад в экологию.

В магазине меня попытались надуть: продавец сдал мне на целых сто франков меньше, чем полагалось. Но не тут-то было. Я, трижды пересчитав сдачу, вернулась. Он сразу же, невинно глядя на меня, отдал мне мои сто франков.

«А что ты хочешь, — сказала я себе, — ведь традиция обмана здесь заложена самим отцом-основателем, Франсуа Гримальди, который пробрался в крепость, переодевшись монахом... Скажи спасибо своему отцу за то, что тебя так просто не проведешь, и иди себе дальше».

Выйдя из магазина, я села за круглый мраморный столик уличного кафе неподалеку. Мое левое

плечо, обгоревшее на солнце, тоже напоминало мрамор, розовый каррарский мрамор. Словно скульптор начал ваять скульптуру и бросил на полпути.

Получив у официанта свой заказ, я медленно ела салат, потягивала сквозь соломинку коктейль, разглядывая тихую теперь площадь, *безмолвный* княжеский дворец со средневековыми башенками. Утро, когда за мной увивался Джорджио, казалось, приснилось или было очень давно.

Ко мне неслышно подошла тощая серая кошка, потерлась о ноги, но от кусочка сыра отказалась. Мне вдруг вспомнилось *Chat noire*, уличное кафе в Париже. Название его читается «ша ноар», что означает «черная кошка». Я поняла это, увидев над входом в кафе изображение черной кошки. С опозданием на двадцать лет до меня дошло, что означало название популярных в советское время польских духов «Ша ноар», которые часто просила привезти из Москвы моя тетька Альвина. Нет, *до жирафа* доходит все-таки быстрее.

Кожа продолжала слезать с меня полупрозрачными лепестками папиросной бумаги. «Облезлая ты ша», — сказала я себе, осторожно снимая очередной лепесток с плеча.

В Монако все было чудесно. К тому же здесь не писали на стенах и не писали на тротуарах, как это делали в Ницце на улицах, прилегающих к моей скромной привокзальной гостинице «Нормандия». В Монако не было не только граффити на стенах, но и *афромонаковцев*. И ни единой березки.

Допив коктейль, я беспечно оперлась на «мраморный» столик и обнаружила, что он липкий. А зеленый «мрамор» оказался просто пленкой, которой обклеили столик. И это — в уличном кафе перед дворцом славной династии Гримальди!

«Может быть, у них здесь все еще впереди? — подумала я. — И надписи на стенах, и вонючие тротуары. Возможно, принцу Ренье Третьему после трагедии, случившейся с Грэйс Келли, все *до фонаря...*» Я читала в каком-то глянцево-м журнале, что после автомобильной катастрофы, унесшей жизнь красавицы жены, пожилой принц дал обет повторно не жениться, плюнул на себя, стал выкуривать за день шестьдесят сигарет.

Впрочем, я слишком многого хочу. Скорее всего, *настоящий* мрамор и полагается только княжеской семье...

Вспомнив о принцессе Грэйс, о бренности бытия, о том, что *sic transit gloria mundi*<sup>1</sup>, я попросила у официанта счет и поспешила к телефону-автомату. Звонить Стасу.

<sup>1</sup> Так проходит мирская слава (лат.).

— Я тебе звоню из Монако! — оживленно-пьяненько начала я.

— А-а... мы там банк открываем, — ответил он без капли восторга.

Итак, поразить его воображение не удалось. Откуда бы я ему ни позвонила, *они там открывают банк*.

То, что я собиралась похвалить его книгу, тоже улетучилось из моей памяти, так как он ошарашил меня известием, что у *них там* не работает ни один телеканал — позавчера сгорела Останкинская телебашня.

— Как сгорела?! — ахнула я. — Дотла?

— Сгорела самая верхушка, до отметки триста двадцать восемь метров. К тому же идет проливной дождь.

— Так приезжай тоже сюда, раз ты тут банк открываешь. Подальше от взрывов, от пожаров, от дождя.

— Мне достаточно того, что ты там.

— Ты в прошлый раз был сердитый, я звоню в надежде, что сегодня ты в лучшем настроении, — ляпнула я, по-видимому, уже парализованная *Бермудским треугольником*.

В *лучшем*. Ага. Башня сгорела, его любимые новости не показывают.

— Меня обидело, что ты думаешь, что я здесь сплю с кем-то. Ни с кем я не сплю, — продолжала я скороговоркой.

— Да, но может быть, кто-то спит с тобой, — сказал он.

— Так ты что, хочешь этого?!

— Ну, меня это не порадовало бы. Ты говорила, что переселилась в район красных фонарей. На панель уже выходила?

Стоило Стасу сказать, что *это его не порадовало бы*, как на всех столиках казино «Руль» и «Монте-Карло» выпало зего. Шансы Фредерика на мое *je te aime* обнулились. Мой *возлюбленный* не только открывал здесь банк, но и командовал на расстоянии компьютерами, которые управляли рулетками на столиках.

— Нет, деньги еще не совсем кончились, — в тон ему съязвила я.

— Деньги, заработанные таким путем, на пользу не пойдут, — произнес он морализаторским тоном.

«Он что — действительно допускает такую возможность?» — изумилась я через пару часов, когда вспомнила эти слова.

— Я ни с кем здесь *не сплю*, — сурово повторила я.

— А как?

Мне почудилось или это его действительно волнует?

— Мне не нравится это слово, но я жуткое... *динамо*. Только я и платить за себя не разрешаю, всегда останавливаю.

— Ты транжира.

Вот и пойми. Он что же, хочет, чтобы я позволяла за себя платить, а потом *уносила ноги*? Так, что ли?

— А ты там ходишь с открытой грудью?

«У него что же, видеотелефон?» — на мгновение заподозрила я. Ведь именно это я и делала. Лежала на пляже *топлес*, в Монако приехала, надев полупрозрачную «размахайку», свой *регулятор одиночества*.

— Частично, — растерянно ответила я, сама не зная, что бы сие могло означать.

— И спишь тоже *частично*, — резюмировал он.

Лимит моей карточки внезапно закончился, и связь оборвалась.

После нашего разговора я с легкой душой почти побежала вниз со скалы. Пока шла, стемнело — в горах это происходит мгновенно, зажглись огни, мириады огоньков вспыхнули на высоких склонах горы в этом крохотном государстве.

В киоске у вокзала я купила новую карточку, но он уже уехал с работы, не дожидая, пока я ему перезвоню. Меня снова стали терзать муки ревности. Куда он так спешил? И меня снова охватило желание установить *паритет в отношениях*.

И еще. Меня обидело, как плохо он меня знает, раз допускает, что я ему не перезвоню. Недолго же длились мое блаженство и умиротворение!

Я набрала номер Лены, поздравила ее с днем рождения.

— Ты случайно не выпила? — спросила она, выслушав мои пожелания.

— Коктейль. «Блу-уди Мэ-эри». Меня радует, что хотя бы один человек в мире понимает, когда у меня *критические дни* и когда я выпила.

— Блуди, Мэри? — хихикнула она и свернула разговор. — Ну, ты скоро приедешь. Извини, у меня на плите мясо пригорает.

Таковы мои родственники. Им все равно, что я звоню из Ниццы, звоню из Монако, что мне одиноко, необходимо поделиться — ведь у них там «Санта-Барбара». Или же — *мясо пригорает*.

На пустынном перроне вокзала Монако, похожего на современную станцию метро, тоже освещенную мириадами огоньков, убегающих под куполом далеко вдаль, кроме меня появилось несколько человек буквально за пару минут до прибытия поезда.

Я подошла к ним поближе и... увидела знакомое лицо. Знакомые очки в допотопной роговой оправе. Жан-Клод! *Не Ван Дамм*.

Он заулыбался, буквально расцвел, увидев меня. Было ясно, что он очень обрадовался.

Мы вместе вошли в двухэтажный вагон, в котором теперь ехали только одни женщины. Закон равновесия в действии.

Ницца находится недалеко от Монте-Карло, и мы с Жан-Клодом не стали подниматься на второй этаж восхитительного TGV.

— Пойдемте ко мне, — предложил Жан-Клод, когда мы вышли в Ницце из поезда. Он живет в двух шагах от моей гостиницы. Все это он сказал, конечно же, по-французски, но я прекрасно его поняла.

Улицы Ниццы, несмотря на поздний час, были хорошо освещены. Крупное интеллигентное лицо Жан-Клода, а главное — его старомодные очки исключали малейшее опасение, что мой спутник серийный убийца-маньяк. Более того, у меня не было никаких сомнений, что он не позволит себе без спроса целовать мои руки, как *Маркс-Будулай*, или макушку, как Фредерик.

«Что ж, — подумала я, — пойду ознакомлюсь с французским бытом, так сказать, *из первых рук*».

Мы пошли рядом по неровной, узкой улице, мимо известных заведений под нервно дергающимися, как сердце на грани инфаркта, неоновыми вывесками, на которых кривыми буквами было выведено *Sexy love, Sex, Sex, Sex*. Вывески отбрасывали на наши лица красные блики, с тротуара било в нос высушенной, застоявшейся мочой. Мы интеллигентно (он по-французски, я — жестами) беседовали, делая вид, что не замечаем их.

Минут через пять подошли к каменному дому, где на втором этаже жил Жан-Клод. Я так и не поняла, он снимает эту квартиру после развода с женой или же это его собственность.

Я не ошиблась в Жан-Клоде. Он вел себя корректно.

Но вопиющая скромность его квартирки — с крохотной кухонькой (скорее, это был кухонный уголок — даже меньше, чем у тети Шуры, меньше, чем моя в хрущобной пятиэтажке) — все-таки удручала.

Гостеприимный хозяин угостил меня ужином: сварил замороженные грибы, вытряхнув их из пакета в кипящую воду, и я провела не лучший час моей жизни, делая вид, что они, несмотря на хрустящий под зубами песок, вкусны. Мне не хотелось огорчать Жан-Клода отказом отведать его *кулинарный изыск*. Если бы не он, как бы я отправила открытки моим кузинам?

Очевидно, однажды потеряв, Жан-Клод решил теперь меня ни в коем случае не упускать. Он, по-видимому, понял, что за мной нужен *глаз да*

*глаз*. Проводил до гостиницы и объявил, что «завтра покажет мне *Catedrale Sante Nicolas*». У него завтра свободный день. И вообще, он свободен. Во всех смыслах слова. Я милостиво включила его в план мероприятий на завтра (пляж, могила Герцена, собор *Sante Nicolas*).

Мы попрощались перед моей гостиницей. В этот, уже ночной час она тоже стала подмигивать, как торговцы на вернисаже в Измайлово, уговаривающие купить свои сувениры. Разноцветными огоньками, горящими над входом. Наверное, чтобы что-либо продать, необходимо подмигивать...

## 22.

Утром, когда проснулась, я не поверила глазам — за окном было белым-бело. У меня даже закралось тревожное подозрение, что (в конце августа!) выпал снег, наступила зима. С замиранием сердца подойдя к окну, я увидела, что это белеет крыша большого комфортабельного автобуса с надписью *Traffalgar* на боку, припаркованного напротив нашей *Hotel Normandie*.

Выйдя после завтрака на улицу, я увидела в дверях соседней гостиницы типичного *мачо*. Он стоял, слегка расставив ноги. Когда я возвращаюсь из своего внутреннего мира во внешний, я могу неосознанно начать в упор смотреть на человека. Он заметил это и, подмигнув мне, как прошлой ночью моя гостиница, тоже уставился на меня. Правда, вполне *осознанно*. Я сложила губки бантиком, сделала ни в чем не виноватое лицо и пошла дальше по улице, где прямо на тротуарах под навесами были накрыты маленькие столики, за которыми сидели худенькие француженки и итальянки перед огромными тарелками и ели огромные высококалорийные блины, поливая их жирными и сладкими подливками. И им это сходило с рук!

Но дойти до могилы Герцена (чтобы убедиться, что он *жил на самом деле*) оказалось для меня почти непосильной задачей. Меня, как Одиссея в его блужданиях, тоже отвлекали на пути всевозможные *сирены*. В их роли выступали магазины и магазинчики, которых было на улице, по которой я шла, несметное множество.

— *Be careful!*, — сказал мне толстый хозяин, когда я взяла в его лавочке для примерки три белых предмета и один голубой, из которых я купила только лишь белую юбку.

— *Be careful*, — сказала я ему, увидев, как складывая (теперь уже мою!) белую юбочку, он

<sup>1</sup> Будьте осторожны (англ.).



водит ею по столу, испачканному пастой шариковой ручки.

«Я становлюсь мстительной — как тетя Шура, как мой милый, — констатировала я с горечью. — Все приходит со временем в упадок».

Я решила не ходить на кладбище и вернулась в гостиницу — к новой белой юбке мне непреодолимо захотелось надеть босоножки на каблуке.

Надев их и дойдя теперь почти до площади Массена, я обнаружила, что ноги в них все-таки устают. О да. Когда же еще надеть босоножки на восьмисантиметровом каблуке? Конечно же, именно тогда, когда надо взбираться к могиле Герцена, расположенной на высокой каменистой скале-горе!

Я все утро шла туда: купила диск Джо Дассена, перемерила в магазинах все, что только могла и, выходя с чувством чуть ли не заработанных денег (а я опять ничего не купила!), в час дня (!) оказалась у кулинарии на углу Массена. Пора обедать.

Увидев вывеску Chez Tang, перевела себе ее как «Дорогой Танг» (ведь если *chez* означает «дорогой», то почему бы и *chez* не могло означать то же самое?) и зашла внутрь, в освежающую прохладу.

Китаец (или кореец?), который здесь обслуживал (я его мысленно сразу нарекла Тангом), носился по залу так, словно хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Впрочем, нет, там полно рекордов глупых, бесполезных. А он приносил пользу, разнося запотевшие бутылки с водой, чай, кофе, салаты.

«Желтая раса будет править миром», — невольно вспомнилось мне изречение, вроде бы библейское, которое еще в советское время цитировала моя абсолютно неверующая тетя Альвина. Прошли годы, и Китай действительно заполнил своими товарами весь мир.

В сравнении с «Макдоналдсом», где подают только пустые калории, здесь было витаминно, питательно и вкусно. За пять франков — огромное блюдо жареной курицы с карри, вкусный компот плюс бутылочка красного сухого вина.

«При такой энергии и при таком трудолюбии у Танга будет свое заведение, потом сеть китайских ресторанов, — размышляла я, наблюдая за тем, как он молниеносно выносит с кухни все новые и новые подносы с едой и напитками, — потом, возможно, выкупит казино Ruhl... Впрочем, многое зависит от его амбиций»

Рассчитываясь, я подчеркнуто сказала Тангу «мерси», оставив ему три франка на чай, но

он примчался вслед за мной и остановил в дверях — принес сдачу, чем уже окончательно потряс меня.

Выйдя из недорогого заведения *дорогого Танга*, я постояла на перекрестке, поколебалась, и — да простит меня Герцен — пошла на пляж.

Волны, обрушиваясь на берег, продолжали неумолимо шлифовать гальку. Через тысячу (через десять тысяч?) лет она превратится в абсолютно круглые шарики из китайского магазина, предназначенные только для того, чтобы их катать в руках.

Приняв хорошую дозу солнца, я все-таки решила продолжить мой путь, который теперь уже пора было назвать *паломничеством*, к Герцену.

Вышла я с пляжа босиком, держа в руках босоножки. Потом, чтобы их надеть, села на белую, как моя новая юбка, нагретую солнцем скамью. Белизна скамейки уравнивалась грязным морщинистым асфальтом перед ней. Надев босоножки на шпильках, я оптимистично зашагала дальше — в сторону горы. Почти сразу стало ясно, что далеко я на таких каблуках не уйду.

«Не умеешь ты правильно выбрать ни время, ни место, ни мужа, ни любовника, ни даже — обувь», — корила я себя, ковыляя в сторону горы, к повороту шоссе, где ветер ощутимо усилился. Это становилось уже серьезным. Если смерч в Калужской области мог унести башенный кран, то не исключено, что этот *ветрюга* сможет и меня осипить.

Я снова невольно подумала, как сейчас на вернисаже в Измайлове за прилавком стоит Сергей и говорит кому-то «вещуга». А меня там нет. Когда ты здесь, то тебя нет в другом месте. Это тоже одно из проявлений закона сохранения энергии и материи. Знайте это все, покупающие популярные книжки по похудению и гербалайф!

Дойдя до поворота, где ветер явно уже *не шутил*, я посчитала разумным опомниться, остановиться и — *вертеть обратно*. Где-то я читала такое выражение.

Вместо того чтобы мысленно общаться с прошлым в лице давно почившего Герцена, я, переодеваясь в гостинице, на минуту натянула свое платье-тестер, убедилась, что *не* поправилась, и рухнула в изнеможении на кровать, где и проспала до самого звонка портье. За мной пришел Жан-Клод, чтобы отвести меня в собор.

Пришлось наспех привести себя в порядок и спуститься вниз. Он стоял, высокий, поджарый, опрятный, в летней рубашке с короткими рукавами, в длинных светло-бежевых брюках, рядом со стойкой администратора и выглядел лет на со-

рок. Правда, вчера он сказал мне, что ему сорок семь.

Увидев меня, он снова просиял, как на перроне в Монако, и твердой рукой повел меня показывать мне *Cathedrale russe*<sup>1</sup>.

Мы довольно долго молча шагали по какой-то широкой унылой улице, но вдруг я увидела на стене одного из серых зданий уже знакомую мне вывеску, *Public Tresor*. Я резко *притормозила* и ткнула *пальцем* в сторону вывески. Дурной пример итальянских детишек оказался заразительным. Может, Жан-Клод объяснит мне, что бы это значило?

Но он не знал английского языка и выдал длинную тираду на французском. Я не поняла ни слова.

— Ква?<sup>2</sup> — капризным тоном спросила я.

Я уже почувствовала, что с ним *можно* пока призначать.

Жан-Клод повторил сказанное еще раз, но в более медленном темпе.

— Ква-ква? — невинно улыбаясь, переспросила я.

Он понял, что я *придуриваюсь*, и тоже заулыбался. Но «публичное сокровище» продолжало оставаться для меня таинственной загадкой.

В конце концов, мы дошли по этой бесконечной улице до собора. Он, действительно, заслуживал внимания. Больше всего меня поразило, что на двух куполах пятиглавого собора виднелись старинные царские двуглавые орлы. *В коронах*.

И еще. Внутри собора висели старинные иконы. *Настоящие*. Их, как ни странно, не *стибрили*, не *слямзили*, не *умыкнули*. И не поменяли на *новодел*.

Когда мы поднимались по ступенькам каменной лестницы к дверям собора, Жан-Клод вдруг споткнулся.

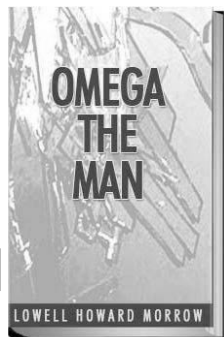
У меня тут же, *ни с того ни с сего*, промелькнула мысль: «Наполеон споткнулся на России, а ты, увы, споткнешься на мне».

Просто удивительно, какие странные мысли лезут порой человеку в голову. Впрочем, как показали дальнейшие события, именно так все и вышло.

Продолжение следует.

<sup>1</sup>Русский собор (фр.).

<sup>2</sup>Что? (фр.).



## Лоуэлл Ховард МОРРОУ



Американский прозаик Лоуэлл Ховард Морроу (1870—1951) не столь знаменит, как его коллеги по фантастическому цеху Герберт Уэллс или Эдгар Берроуз. Но, возможно, современному читателю будет любопытно познакомиться с одной из апокалиптических антиутопий 1930-х годов. «Омега, человек» — самое известное произведение Морроу, повествующее о последних людях Земли.

Евгений Никитин — выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.

# ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК

## ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

**С**еребристый летучий корабль стремительно рассекал носом раскаленный от жары воздух. Полуденное солнце нещадно жгло простирющуюся под ним пустошь. Повсюду царили безмолвие и смерть. Ни в воздухе, ни на тускло-серой земле не виднелось ни одного живого существа. Единственное, что подавало признаки жизни, — сам летательный аппарат. На небе цвета индиго не было ни облачка. Где-то вдали вырисовывались горные пики, вгрызающиеся в горизонт, словно зубья гигантской пилы.

Воздушный корабль плавно затормозил над усыпанной солью равниной, резко снизился и, наконец, приземлился на дне большой чашеобразной впадины — расщелины, чьи каменные бока уходили на мили вверх, рвясь обратно к небу. Несколько мгновений спустя люк на боку воздушного судна бесшумно открылся. Засиял яркий свет. Две фигуры вышли наружу, задержались на пороге и осмотрели высохшую пустошь. Затем без малейшего признака страха — хотя до земли было семьдесят пять футов — выпрыгнули из корабля и спланировали наземь.

Эти двое людей — последние из выживших детей Земли — были мужем и женой. Омега и

Тальма. Палящие лучи солнца окрасили их кожу в темно-красный цвет. Ростом они были выше среднестатистического обитателя теперешней Земли. Их ноги были тонкими, костлявыми, беспальными, потому что люди уже несколько столетий почти не ходили по земле. Руки же — длинные, с маленькими, но хорошо сложенными и мускулистыми кистями. Область живота невелика, что компенсировалось размерами груди, прикрывавшей необычайно мощные легкие: природа помогла человеку справиться с проблемой разреженности воздуха. Однако самым странным у этой необычной парочки выглядели массивные головы на коротких тоненьких шейках. Черепная коробка была чрезвычайно развита; выпуклые лбы свидетельствовали о высоком интеллекте. Широко поставленные глаза были большими, кругловатыми, темными, живыми; огромные уши чутко улавливали музыку и звуки природы. К широким ноздрям прилагались очень маленькие (хоть и с полными чувственными губами) рты. Волос на теле не было совсем. Даже брови и ресницы отпали много веков назад. Улыбаясь, новые люди не демонстрировали сверкающих зубов, ибо природа отбросила их как ненужный элемент в ходе эволюции.

Серебристый корабль надежно укрылся в глубоком «кармане» на дне высохшего древнего моря. За миллионы лет жадные лучи солнца и хлещущие порывы ветра осушили его воды, оставив лишь бледную тень прошлого — соленое озеро, простирающееся почти на сотню акров. Ростки желтовато-зеленой травы жались к берегам, тщась предотвратить неизбежную гибель; то тут, то там бледные цветы и изможденная жарой трава храбро вздымались навстречу палящему свету. Это одинокое озеро, расположившееся во впадине между долинами и горами, когда-то бывшими частью Тихого океана, стало последним на Земле источником воды. Все остальное — ныне безжизненное, сухое, бесплодное — сгорело под безжалостным солнцем.

\* \* \*

Омега с Тальмой, взявшись за руки, словно увлеченные игрой дети, приблизились к озеру. Они плавно скользили, почти не касаясь почвы, и остановились, когда зашли по колено в теплые недвижные воды.

Омега зачерпнул рукой жидкость и сделал жадный глоток.

— Хороша, — заметил он низким мелодичным голосом. — И ее много. Здесь мы сможем остановиться надолго.

Тальма радостно рассмеялась. Ее большие красные глаза лучились заботой и любовью.

— Я так рада. Знаю, Альфе здесь тоже понравится.

— Да, милая. К тому же... — Омега умолк и внимательно осмотрел прозрачное озеро.

В центре вода колебалась. Большие пузыри начали вырываться на поверхность. Вдруг в воздух выстрелили длинные струи — как будто гонимые наружу давлением из глубины. Люди в немом изумлении наблюдали, как волнение так же внезапно улеглось, а водная поверхность вновь стала спокойной гладью.

— Вулканическая активность. — Омега казался напуганным. — В любой миг земля может развернуться, и тогда озеро превратится в огненную яму. Но... нет, этого не может быть, — добавил мужчина: он вспомнил, что уже несколько веков не было ни землетрясений, ни извержений вулканов.

— В чем дело, Омега? — прошептала Тальма.

Тот отвел глаза:

— Уверен, нам нечего бояться, дорогая. Просто открылся мелкий разлом в коре.

И он заключил жену в объятия. Они открыли для себя новую маленькую радость. Уже несколь-

ко веков люди общались одними телепатическими волнами; речь использовалась только для одобрительных восклицаний.

— Надо подготовиться к прибытию Альфы, — радостно сказал Омега. — В самом деле, у него может получиться. Если Земля снова начнет покрываться водой, то скорее всего именно отсюда, чем с другого места. Не забудь, что на прошлой неделе Зеркало показало: над равнинами Сахары формируется облако!

Воспоминание о том, как перед самым отлетом с прошлого места обитания, израсходовав остатки воды и похоронив последних друзей и соседей, они заметили в Зеркале несколько клочков тумана над Великой Сахарой (в прошлые века вновь заселенной и перенаселенной людьми — бывшей до недавних пор обиталищем миллионов), подбодрило обоих.

— Насколько нам известно, ось Земли постепенно смещается, — с надеждой говорил Омега по пути обратно к кораблю. — Вода может вернуться.

Его голос был полон надежды, но не убежденности. Надежда, чье семя было заронено в человеческую душу изначально, до сих пор ярко горела в последних стойких сердцах.

Альфа еще не появился на свет. Омега с Тальмой желали рождения мальчика. Ему было бы суждено дать начало новой расе, которая, как они надеялись, с помощью научных достижений вновь заселит Землю. Потому его заранее называли в честь первой буквы греческого алфавита — в противоположность последней букве «омега».

— Мне страшно, милый. — Тальма бросила взгляд через плечо на озеро. — Я все думаю, что там произошло.

— Не тревожься из-за этого, милая.

Они остановились перед кораблем. Омега успокаивающе приобнял жену за плечи.

— Как я уже сказал, наверное, просто открылась расщелина на дне озера. Беспokoиться из-за нее не стоит. Я чувствую, нам здесь нечего бояться. А впереди столько радости. Ведь скоро появится Альфа — какое великое будущее его ждет! Только подумай — он изменит все это! — Мужчина махнул рукой в направлении угрюмых серых холмов. — Только подумай — мир снова станет зеленым!

\* \* \*

Открывающаяся глазу картина была поистине безотрадной. Повсюду — на горах, на холмах, на усыпанных солью равнинах, на скалах — виднелись

скелеты и следы канувшей в небытие жизни. Окаменелости животных и растений «приветствовали» наблюдателя со всех сторон: гигантские ветви безжизненных пальм в лощинах и на возвышенностях, окруженных причудливыми останками давно вымерших обитателей океана; длинная бахрома морских водорослей и мха — выжженного и не более живого, чем пустынные барханы, — все еще облепленная раковинами и украшающая собой скалы и деревья, совсем как в ту отдаленную эпоху, когда берега обмывали волны океана; величественные коралловые леса — когда-то белорозово-красные, кишящие жизнью, а ныне серые и мертвые — по-прежнему воздевающие кверху «руки», их былую красоту скрыла и исказила скопившаяся за века грязь. Киты, акулы, морские змеи, рыбы самых разных видов и размеров лежали на земле вперемешку с гигантскими угрями и чудищами из глубин; их мумифицировавшиеся тела сморщились и съежились от жары, а жуткое обличье «смягчил» древний пепел.

Прошли сотни миллионов лет с тех пор, как началась борьба — борьба жизни с вторжением смерти. Теперь же смерть бродила повсюду, торжествующе-злобно ухмыляясь, ибо она выигрывала схватку. Ее жуткие тиски сжались почти окончательно. Человек покорила жизнь, но не смерть. По мановению волшебной палочки прогресса он вышел в космос и обнаружил жизнь в других, отдаленных мирах. Он искоренил суеверия, страх и эгоизм. Он справился с болезнями и познал все тайны природы. Он даже посетил другие планеты,

познал, понял Бога, однако не остановил мрачную поступь смерти. Ибо самое начало творения обрекло мир на участь ее жертвы. Медленно, но верно холодные костлявые пальцы обхватывали Землю. Солнце разбрасывалось необычайно жаркими лучами, выпивая все больше влаги и испаряя ее навсегда. Постепенно исчезли леса, потом обмелели и высохли реки и озера. Атмосфера начала истончаться почти неощутимо — только благодаря научным разработкам люди сумели это установить. На Землю лилось все меньше дождей, в конце концов даже ледяные шапки полюсов растаяли. Холодные, пустынные, мрачные земли погружались во мрак и забвение с приходом долгих ночей, маяча унылыми призраками даже летом. Солнце неустанно жгло планету, океаны век за веком отступали от берегов, однако люди, вооруженные знаниями и техникой, упорно следовали за пятающейся водой, селясь рядом, экономно ее расходуя и не прекращая цепляться за жизнь.

Но теперь всему живому на Земле была уготована последняя битва. Как именно она будет протекать, пока неясно, однако сомнений в том, что она состоится, быть не могло. Кому как не Омеге знать, что солнце светило все столь же ярко? Вращение Земли замедлилось, в сутках стало 25 часов, а в году — 379 дней. Человек постепенно приспособивался к изменившейся окружающей среде, побеждая даже в проигрываемой борьбе, ибо научился улыбаться в пустые глазницы смерти и смеяться над пустыми обещаниями жизни.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина



**Олег ЛАПШИН**

**Олег Лапшин** — поэт, прозаик, доктор физико-математических наук. Родился в 1963 году в поселке Шпалозавод Томской области. Окончил механико-математический факультет Томского государственного университета. Работает в Томском научном центре ведущим научным сотрудником. Автор книги стихотворений «Лировый месяц» (1993), сборника рассказов «Набор сувениров» (2008). Печатался в журналах «Юность», «Сибирские огни», «Начало века», «После 12», в «Независимой газете» и др. Лауреат городского литературного конкурса «Томская книга» (2008) и юбилейного областного фестиваля «Томская книга» (2009). Член Союза российских писателей. Живет в Томске.

## ВЫСТАВКА

### РАССКАЗ

**О**ткрытие художественной выставки должно было состояться в доме ученых в семнадцать часов. Виновники торжества, три художника, пришли чуть раньше и чинно расположились на небольшом диване у старенького пианино, на котором для сопровождения выставки играла нанятая художниками молодая девушка.

Но сопровождать выставку было некуда — никто не пришел; и развешанные на стенах картины, словно небольшие окошки в другие миры, в розовые и синие, а также иных цветов, были открыты вхолостую — никто к ним не прицеливался, то есть не приценивался.

Художники сидели на диване, девушка играла на пианино, и только через полчаса от начала выставки пришли две молодые особы и начали обходить галерею, всматриваться в картины, словно хотели в них кого-то узнать, встретить знакомого — или лучше сказать, девушки как бы выбира-

ли свой мир, свое окно, а художники в это время, точно женихи, с трепетом ожидали, чье же окошко предпочтут красавицы.

Красавицы предпочли окно Брэхта. Они остановились у нарисованных не коз, а роз. Хотя сначала могло показаться, что это были белые козы. Однако стоило к тем козам присмотреться, становилось совершенно понятным, что эти козы — ожившие розы, которым надоело расти на одном месте, и они решили пойти погулять, мир посмотреть да себя показать.

Розы-козы были замечательными, и Брэхт (художник, который их нарисовал) заметил: девушки оживились именно возле этой картины. Но, специально сделав равнодушный вид, Брэхт продолжил чинный и негромкий разговор с остальными своими собратями по кисти.

Тем временем девушки подошли к художникам и достали портативные диктофоны. Они ока-

зались корреспондентами газет и на выставку пришли по заданию редакций взять у имен интервью.

Каждый из художников ответил на вопросы единственных посетителей-корреспондентов; затем девушки поспешили покинуть выставку, так как их рабочий день уже заканчивался. Больше в картинную галерею никто не пришел.

Утром следующего дня в двух местных газетах вышли небольшие заметки, в которых говорилось о том, как прошло открытие художественной выставки. «Посетители с удовольствием рассматривали картины наших замечательных художников», — отмечали в своих заметках девушки-корреспонденты, скрывая правду и не говоря о том, что этими посетителями были только они...

Девушки-корреспонденты не знали и в заметках не отразили, что после выставки Брэхт вернулся в свою мастерскую и начал ждать еще утром позвонившего ему человека, пожелавшего после работы вечером зайти к художнику посмотреть картины и, возможно, что-нибудь купить.

Человек пришел после восьми вечера. Это был небольшого роста толстый, лысоватый мужчина, который тут же принялся рассматривать картины Брэхта.

Мастерская была огромная, с очень высокими потолками и большими окнами. Такие мастерские художникам построил еще при советской власти первый секретарь обкома Егор Лигачев. При нынешнем главе области цветок томского искусства начал угасать и замерзать — слишком неподъемные тарифы за отопление мастерских заставили художников совсем его отключить и обогреваться более дешевыми электрическими масляными радиаторами.

В эту зиму, под масляный радиатор, Брэхт поработал особенно плодотворно и масляными красками создал несколько воистину уникальных картин, даже если не брать в расчет очень удачную его картину «Розы и козы».

Пришедший человек начал рассматривать картины, забирался на второй ярус и кричал оттуда, прося Брэхта бросить экономить и включить еще одну лампочку, добавить освещения, так как невозможно было разглядеть на пейзаже одну очень интересную ветвь. Человек радостно говорил, что он себя ощущает птицей, чуть ли не чеховской Чайкой, когда смотрит на эту нарисованную ветвь, — и просил художника скинуть ему цену на ветвь хотя бы на две тысячи рублей. А может быть, это была даже и не ветвь, а море, — ведь они так похожи, ветвь и море: оба невероятно прекрасные, чистые и прозрачные, рождающие в душе одну и ту же романтическую мелодию расставания.

В свою очередь Брэхт жаловался на подорожавшие коммунальные услуги, в то же время простой маленький тюбик краски уже сто сорок рублей стоит, и если он сбавит цену хоть на пятьсот рублей — это уже будет для него ощутимо, и он не сможет закончить еще сырую рыбу нового пейзажа.

Толстый мужчина начал колебаться, но возразил, что у них тоже с зарплатой не ахти как и с ростом цен никто ее индексировать не торопится, однако если Брэхт накинет сверху еще одну милую акварельку, то он готов отдать деньги и не торговаться. Художник с досадой махнул рукой и согласился отдать нарисованную ветку вместе с синей акварелью за семь тысяч рублей.

На том и порешили. Человек выложил семь тысяч, а художник завернул картину и акварельку в жесткую желто-коричневую казенного цвета бумагу, в которую обычно заворачивают рыбу, и отдал все это богатство покупателю.

Вскоре из подъезда дома, в котором располагалась мастерская Брэхта, вышел невысокий толстый человек, несший завернутый в грубую оберточную бумагу квадрат, в котором содержалось масляной краски общей стоимостью в несколько сотен рублей.

г. Томск



Сергей БЫЧКОВ

Продолжение. Начало в № 7–11 за 2014 год

## ОТМЫВАНИЕ ЖЕМЧУЖИН

### ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Следователь ознакомился с воспоминаниями Леви. Именно они помогли ему глубже понять особость пастырского служения священника. «Трудно припомнить, когда у нас появились "общие" — его прихожане, мои пациенты. Он направлял ко мне, я приводил к нему. Некоторые ходили к обоим еще до нашего знакомства. Сотрудничество священника и врача естественно, как содружество правой и левой руки; мешала лишь государственная патология. Среди тех, кто вверял нам души и судьбы, были не только "слабые". Отец Александр видел в человеческой слабости не отсутствие, а лишь непроявление силы духа или действие "наоборот", негатив. Изломанных, больных, заблудившихся, конечно, хватало; но как раз с этим сопрягаются обыкновенно талант, самобытность, скрытый избыток сил, душевная красота... Обычное сочетание: незаурядность натуры — духовный кризис — житейская катастрофа (болезнь, одиночество, семейная драма или неразрешимый конфликт с системой). У многих — жестокие внутренние потрясения на фоне внешнего благополучия. Что кому требуется, решали конкретно, обсуждали при встречах, в письмах».

Оказалось, что еще в начале 70-х годов отец Александр отказался от распространенной практики крещения в СССР. Большинство его собратьев крестили взрослых людей совершенно неподготовленными. Отец Александр ввел катехизацию крещаемых. Поначалу сам готовил к принятию крещения катехуменов, когда же приход стал

разрастаться, поручал это ответственное дело наиболее подготовленным прихожанам. Так постепенно возникали небольшие группы, за жизнью которых он внимательно следил. Возрождая древнюю практику, стремился, чтобы катехумены крестились на Светлой седмице, после Пасхи. Во время Великого поста шли постоянные занятия. Отец Александр понимал, что катехизация — только половина дела. После крещения необходимо было евангелизировать новокрещенных, чтобы они не потерялись в сложных условиях советской жизни. Особое место в приходе занимала община, в которой занимались евангелизацией детей.

Отец Александр интересовал некоторых епископов. Как-то в начале 80-х годов какого-то прихожанина пригласил в Курск один из наиболее даровитых и энергичных архиереев РПЦ — архиепископ Курский и Белгородский Хризостом (Мартишкин). Видимо, он столько слышал о нем, что искренне заинтересовался. Он задал только два вопроса. Первый — каковы финансовые сбережения отца Александра? Прихожанин вспомнил, как отец Александр при нем дома открыл жестяную коробку — в ней лежало пятьсот рублей на черный день. Второй вопрос, заданный владыкой Хризостомом, — есть ли у него личная автомашинка? Тогда автомашину могли себе позволить только очень состоятельные люди. Когда он узнал, что машины нет, то воскликнул: «Да, это раб Божий!» Как епископ он постоянно сталкивался с духовенством и знал его жизнь. Страсть к



стяжанию денег среди большинства российского духовенства была всепоглощающей. Этим двух критериев владыке Хризостому хватило для того, чтобы раз и навсегда составить представление об отце Александре. А для него это было важно еще и потому, что как заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений он выезжал за границу, встречался с представителями русской эмиграции и должен был отвечать на их не всегда дипломатичные вопросы.

В конце 70-х годов, когда приход настолько расширился, что отец Александр был уже не в состоянии пастырски работать с каждым, он решился на создание «малых групп» для евангелизации не только новокрещенных, но и тех, кто только начинал воцерковляться. Среди прихожан отбирал наиболее воцерковленных, обладавших организаторскими способностями. Они объединяли прихожан в небольшие, по десять-двенадцать человек, группы, которые регулярно собирались на московских квартирах для совместной молитвы, изучения Священного Писания, медитации и добрых дел. Лидеры — так называли руководителей — регулярно приезжали в Новую Деревню на литургию. Они делились с отцом Александром успехами и возникающими проблемами. Члены групп должны были появляться в храме не реже одного раза в месяц. Они исповедовались и причащались у отца Александра. Если в какой-либо из групп возникали серьезные проблемы, он приезжал и принимал участие в совместной молитве. Потом обычно следовали трапеза и беседа с участниками. Обычно он находил выход из создавшегося положения.

Он регулярно собирал лидеров и внимательно следил за их развитием. Во время этих встреч происходил обмен накопленным опытом. Отец Александр следил за тем, чтобы лидеры постоянно росли духовно. Часто повторял, что они должны быть в богословском и других планах на голову выше своих пасомых. Иначе будет потеряна суть общения. Он выделял ряд обязательных для лидеров книг, которые важно было не только прочесть, но и освоить вместе с членами групп. Среди них он называл исследование немецкого богослова Рудольфа Отто «Священное», «Многообразие религиозного опыта» Джеймса, «Духовные основы жизни» Владимира Соловьева, работы Тейяра де Шардена, «Прогресс и религия» Кристофера Дусона, «О Библии и Евангелии» Луи Буйе. В приходе была налажена переводческая и издательская деятельность. Тем прихожанам, которые знали иностранные языки, он доверял переводы, которые потом редактировал. Затем переведенные

книги перепечатывались на машинке, отдавались в переплет и передавались из рук в руки. Классический религиозный самиздат!

Отец Александр был рад, когда узнал, что и на Западе началось движение, подобное его «малым группам». Это был знак, что избран верный путь евангелизации расцерковленной России. Мысль английского религиозного писателя К. С. Льюиса о роли «малых групп» была ему близка: «Если и впрямь началось христианское возрождение, развиваться оно будет медленно, тихо, в очень маленьких группах людей». Конечно, в этой форме работы с прихожанами таились и немалые опасности. Особенно им подвергались лидеры. Беседуя с ними, он предупреждал: «Всегда у вас будет искушение: поставить себя, свою личность выше Слова Божия». После этих слов следовал живой пример — история об одном катехизаторе, который, уйдя от жены к другой женщине, устыдился, что живет не так, как учил, — и покинул и свою общинку, и приход. Отец Александр долго спрашивал присутствующих: в чем тут главная ошибка? Ответ: не в уходе от жены, а в том, что катехизатор не был в состоянии признать свою слабость перед бывшими «учениками». Поскольку в состав группы входили, кроме юношей и мужчин, девушки, то порой у них возникали привязанности к женатым лидерам. И естественная потребность свить собственное гнездо. Часто получалось, что гнездо вили на развалинах чужой семьи.

Отец Александр не ограничивался границами только своего прихода. Случались и «апостольские командировки». Как-то летом, еще в советские времена, он отправился с одним прихожанином в город Кузнецк Пензенской области, где служил молодой священник Николай Агафонов. Отец Александр любил и ценил его, поэтому считал необходимым поддержать талантливого священника, восстанавливавшего храм на окраине города. Несколько раз ездил в Харьков, где жили его дальние родственники. Каждый его приезд становился событием, собирал самых различных людей, разнообразя живым общением однообразие провинциальной жизни. После празднования 1000-летия Крещения Руси отец Александр познакомился с правящим харьковским архиереем Никодимом (Руснаком). Тот с гордостью показывал ему реставрируемые храмы, знакомил с просвещенными священниками.

Еще в 1983 году, в разгар андроповских гонений на Церковь, ему был задан вопрос: «В чем вы видите причины неудач с наиболее талантливыми духовными детьми?» Он ответил: «Вопрос сложный. Думаю, что те люди, которых я так или ина-

че потерял, поддались искушению тщеславия. Им подсознательно хотелось сделать что-то необыкновенное. Им казалось, что это просто. Словом, обычные человеческие страсти. Я мог бы их подавить в зачатке, приняв метод авторитаризма и патернализма. Но я не могу и не мог этого сделать. Здесь уход в сторону. Подмена веры "отцом". Все должно строиться на свободе. Это тяжелый дар и, конечно, риск». Это на самом деле были очень тяжелые времена. Казалось, что налаженная с таким невероятным трудом приходская структура разрушается. Самый болезненный удар был нанесен бывшим его прихожанином Владимиром Никифоровым, который покинул приход в 1979 году, но был посвящен во многие подробности. Он был арестован осенью 1983 года. Прошли обыски у ряда лидеров «малых групп».

После ареста Никифорова начались допросы отца Александра. Он держался как подлинный пастырь. Почти не делился с прихожанами тем, что с ним происходит. Это был самый тяжелый период его жизни. Его травил член «двадцатки». Особенно две женщины — регент Ольга и член «двадцатки» Зоя, хитрая интриганка лет под сорок, ненавидевшая отца Александра. Настоятель Стефан Середний, человек психически неуравновешенный, часто устраивал истерики. Приезжал в храм, когда была черед служения отца Александра, и, стоя на клиросе, внимательно следил за каждым его шагом. Врывался в алтарь, когда ему казалось, что отец Александр допустил какую-либо оплошность, и начинал кричать. После истерик настоятеля служение литургии, которое исстари именуется служением любви, бывало отравлено. Настоятель поначалу действовал не прямо, а через Зою, одинокую женщину среднего возраста. Ей он жаловался, что приходит в Троице-Сергиеву лавру, а монахи его спрашивают: «Ну, как там у тебя Мень?» Он отвечал: «Да ничего». А ему в ответ: «Не видишь ты, Стефан, ничего!» Масла подливал и архиепископ Киприан (Зернов), который рукополагал отца Стефана. Он при встречах также настраивал отца Стефана против второго священника. Когда выпадала черед служения отца Александра, его вдруг переставали кормить после литургии. Затем староста, на которую оказывала давление Зоя, запретила принимать прихожан в сторожке. Отец Стефан отказывался причащать прихожан, если они не были на всенощной. Хотя правящий митрополит Ювеналий объяснял ему, что это необязательно. Все вместе привело к тому, что отец Александр всерьез решил проситься у митрополита на другое место служения. И вдруг

после того, как принял такое решение, внезапно умерла Зоя. Только ее похоронили, как в декабре 1983 года начались допросы.

Они были долгими и изнуряющими. Из-за показаний Никифорова под угрозой было поставлено существование и дальнейшее развитие «малых групп». Эти гонения стали многолетней и нештучной проверкой для всех. Отец Александр держался стойко, он был верен себе и Богу. Еще до гонений он писал Владимиру Леви: «То, что пишет Владимир Соловьев, — есть не вера, философское убеждение. Само по себе оно важно, но не может заменить жизни. А вера есть жизнь. Вы говорите о ней как о стержне, и это глубоко верно. Она есть внутренняя ситуация человека по отношению к Богу. Библия требует от нас полной, всецелой самооткровенности, единства личного начала. Только так второе "я" становится просто тенью, которая должна знать свое место, а не психическим паразитом на личности. Чем прочнее единство, тем больше открытости Высшему. Когда мы учимся доверию к жизни, к Бытию, Богу, когда мы говорим Ему "Ты", происходит основное. Мы выходим на контакт с самой сутью вещей». Он вел себя в этот тяжелый период так, как учил. Его пастырское слово не расходилось с делом. Он самоотверженно защищал прихожан, как птица защищает своих птенцов. И в этом был подобен Христу. Он напоминал о распространенной реакции обычного человека в тяжелых ситуациях: «...нежелание, боязнь взять ответственность, дерзнуть, принять и идти. Увы, нам всем это свойственно, и мы знаем, как это мстит за себя. Ведь мы, мужи, теперь уже не защищаем своего очага с оружием в руках. Значит, остается проявить свое естество в том, чтобы решаться на ответственность, на подставление своего плеча. В нашем неустойчивом мире самое слабое плечо может стать неожиданно сильным».

Откуда он черпал силы? Как умудрялся сохранять заряд радости и бодрости в самые темные времена? Много ему давало служение литургии и постоянное пребывание в молитве. Таинство евхаристии, во время которого верующему преподается под видом хлеба и вина Тело и Кровь Христа, является центральным в жизни христианина. Прихожане неоднократно были свидетелями того, как преображался во время служения литургии отец Александр. Для него служение литургии становилось неизбывной радостью ближайшего пребывания с воскресшим Иисусом Христом, реально, здесь и сейчас пребывающем в нашей жизни. Молитвенное воздевание рук перед престолом, когда хлеб и вино становятся Телом и Кровью Хри-



ста, благодатный свет, которым озарялось его лицо, смиренное поклонение Дарам — все это свидетельствовало о том, что для него служение литургии — живое и непосредственное общение с Богом. Залог вечной жизни, который вручается христианину уже на земле. «В своем литургическом облачении был торжественно-величествен, как древний владыка, огромен — не ростом, а существом, сутью-статью — величиной, место не занимающей, а вмещающей. Крылобровые глаза древнего разреза, в дивных длинных ресницах, излучали снопы светожизни... Ослепительно-облучающая улыбка. Никогда не улыбался на подачу и очень детски смеялся». Он постоянно напоминал своим прихожанам, что благодать не обитает в злобных и завистливых сердцах. Приобщаясь к Божественной благодати во время литургии, христиане призваны бережно хранить и умножать ее в своих сердцах, страшась осуждения, зависти, злобы, недоброжелательства.

Он сумел приобщить многих прихожан к молитвенной стихии. В этом проявлялся особый талант духовника. «Подобно раскаленной магме, которая ныне надежно упрятана в глубинах земли и лишь изредка вырывается на поверхность, течет в глубинах времени раскаленная стихия молитвы.

Какое счастье припадать к этой огненной реке, соединяясь с многовековыми молитвами далеких предков. Погружаясь в ее огненные воды, ощущаешь, как мгновенно она уничтожает распри и разделения, как сгорает все наносное — то, что слеплено нами здесь, на земле, из сена, соломы, дерева. Зато наши беды и печали сверкают в ней подобно драгоценным камням. Она выжигает все пустое и временное, неспешно уносясь к тому сияющему небесному Иерусалиму, о котором говорит тайновидец Иоанн в своем Апокалипсисе. Ведь она есть та самая река жизни, которая протекает через небесный град Иерусалим и напоет всех живительной силой. Потом ангел показал мне реку воды жизни, сверкающую, как хрусталь. Она вытекает из-под престола Бога и Ягненка и течет посреди главной улицы». Отец Александр постоянно припадал к этой реке и щедро делился дарами с окружающими. Прежде всего он был подлинным пастырем, священником.

Многим посчастливилось неоднократно испытывать на себе силу его молитвы. После обыска, который прошел у одного из прихожан в сентябре 1982 года, а затем суда над Зоей Крахмальниковой и Указа Верховного Совета РСФСР сотрудники КГБ начали давить на руководство, чтобы его

уволители с работы. Друг предложил пойти работать в молодежную газету «Московский комсомолец», где у него были неплохие связи в отделе культуры. Он воспринял его предложение едва ли не как издевательство, поскольку был уже отмечен органами КГБ как неблагонадежный. Поехал к отцу Александру. Он спокойно выслушал, предложил помолиться. После этого прихожанин был принят на работу в идеологический орган МГК ВЛКСМ внештатным корреспондентом. Отработал без малого год. Публиковался часто и под своей фамилией. Каждую публикацию воспринимал как чудо. Как внештатник получал минимальную заработную плату. Чекисты, видимо, не ожидали такой наглости. И целый год, благодаря молитвам отца Александра, он спокойно трудился на «идеологическом фронте».

Последние гонения длились без малого четыре года. Невозможно измерить глубину страдания отца Александра. Из-за чрезмерных нервных перегрузок усиливался псориаз, которым он страдал. Плечи и локти покрывались коростой. Глядя на них, поневоле вспоминались слова апостола Павла: «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Он спасался от этой болезни в Крыму, в Коктебеле, куда обычно уезжал в начале июля. Жаркое солнце и море помогали бороться с болезнью. Но в 1985 году у хозяйки, у которой он снимал комнату, чекисты провели обыск. Крым оказался недосягаемым. В этот период его выручил прихожанин, член Союза писателей. Он выпросил командировку в одной из газет, и они вместе с отцом Александром уехали в Среднюю Азию. А через год — в Дагестан, на Каспийское море.

Кроме всех этих испытаний на протяжении всего священнического служения он нес еще один тяжелый крест. Вплоть до последнего года служения он всегда был вторым священником и находился под властью духовенства, относившего к нему враждебно. Только краткий период в Алабине служил настоятелем, а в Новой Деревне недолго настоятелем был старый и благодушный отец Григорий Крыжановский. В Тарасовке же его донимал доносами настоятель Серафим Голубцов, в Новой Деревне — сначала Стефан Середний, а затем Иоанн Клименко. Осенью 1987 года заболел священник в селе Рахманово. Пушкинский благочинный направил его временно послужить вместо заболевшего священника. Несколько прихожан приехали к нему на литургию. Странно было ощущать, что древний приземистый Вознесенский храм гулко воспроизводит возгласы отца Александра. В Сретенском храме отсутствовала

акустика, иконостас был украшен живописными иконами начала XX века не лучшего качества. Но что-либо изменить он не мог — всем распоряжались староста и настоятель. После литургии вместе отправились на станцию, и отец Александр неожиданно признался: «Я всегда мечтал служить в древнем, намоленном храме, расписанном согласно канонам, и обязательно один». И только лишь за полтора года до гибели митрополит Ювеналий сделал его настоятелем.

## ГЛАВА V. И ВНОВЬ ЗНАКОМАЯ РУКА...

Следователь Иван Лещенков отличался скрупулезностью и тем особым вниманием к мелочам, которые присущи настоящим профессионалам. Наткнувшись в архивах ЦК КПСС на докладную записку «церковного» отдела КГБ, гласившую о том, что благодаря чекистам в газете «Труд» вышел материал об опальном священнике, начал поиски. В подшивке пожелтевших газет за 1986 год он нашел номера за 10 и 11 апреля, в которых на всю полосу была с продолжением опубликована статья Николая Домбковского «Крест на совети». Он помнил, что газета официально выступала органом советских профсоюзов и поэтому для западных советологов считалась свободной от партийной идеологии. Хотя обмануть даже зарубежных советологов было трудно. Видимо, поэтому в начале горбачевской перестройки «церковным» отделом и ЦК КПСС была избрана для публикации именно эта «независимая» газета.

Лещенков восстановил исторический фон: в конце декабря 1979 года советские войска вторглись в Афганистан. Летом 1980 года в Москве должны были состояться Олимпийские игры. Эти два события в жизни страны вызвали очередную волну репрессий. Правозащитное движение к этому времени было окончательно разгромлено. Председатель КГБ Юрий Андропов набирал силу. Он считал, что оставшиеся на свободе и в стране правозащитники ушли в Церковь, и поставил перед своими сотрудниками очередную задачу: «зачистить» РПЦ. В течение двух месяцев — декабря 1979 и января 1980 годов — в Москве были арестованы священники Глеб Якунин и Димитрий Дудко, миряне Лев Регельсон и Виктор Капитанчук, а также уфимский диссидент Борис Развеев, который после первого ареста продолжал учебу в Башкирском государственном университете на юридическом факультете. В конце 70-х годов его арестовали, он отбыл полгода в заключении за то, что пытался улететь в Москву по чужому студенческому билету.

Немного ранее, в ноябре 1978 года, в Калинин (Твери) был арестован молодой — ему тогда исполнилось двадцать восемь лет — Александр Огородников, духовный сын священника Дмитрия Дудко. Отец Дмитрий всегда выделял его из числа других прихожан, любил как сына, хотя в ответ получал массу неприятностей от честолюбивого, неумного и не в меру любвеобильного Александра. Один из прихожан отца Александра рассказывал: «Я знал его с 1974 года. Познакомился с ним у Анатолия Эммануиловича Краснова-Левитина, который в нем души не чаял, поскольку Саша напоминал ему самого себя в молодости. Себя Краснов-Левитин называл человеком-скандалом. Саша тогда носил длинные волосы и очки, стилизуясь под студента МГУ начала века Павла Флоренского. На самом деле внешне он был похож на него, чем чрезвычайно гордился. Уже тогда был полон сознания собственного величия и некой миссии, которую ему предстоит исполнить. Он сводил с ума девочек, которые всегда вились вокруг него. Пару лет он учился в университете в Екатеринбурге, потом в престижном ВГИКе в Москве, но так и не сумел завершить учебу. Упорный труд не был делом его жизни.

Делом своей жизни он считал некий христианский семинар, состав которого постоянно менялся. Кто кого и чему учил, понять было трудно, поскольку у Огородникова собиралась преимущественно молодежь. Но шуму вокруг него хватало. Саша в середине 70-х годов работал сторожем в психиатрическом диспансере в Москве, и вечерами семинар собирался в помещении психушки. Его быстро выследили чекисты и разогнали. Саша максимально использовал их ошибку и передал на Запад открытое письмо о гонениях на молодых христиан. Подписи под открытым письмом он поставил без согласования с членами семинара. Там стояла и подпись уфимца Бориса Развеева, который поплатился за это исключением из БГУ. Многие из них, особенно из провинции, серьезно пострадали. Самого Огородникова выставили из Москвы, поскольку у него не было постоянной прописки, и какой-то сердобольный человек прописал его в деревне Редькино Тверской области. Его брат, монах Псково-Печерского монастыря Рафаил, собрал деньги, и Саша приобрел большой деревенский дом. Редькино располагалось неподалеку от Москвы, поэтому к нему часто приезжали поговорить уцелевшие семинаристы. Саша затеял рытье погреба, рассчитывая сделать цокольный этаж. Приезжавшие семинаристы принимали в этом активное участие. Окончилось это тем, что дом осел и крыша покосилась, поскольку

у Саши начисто отсутствовали элементарные знания и в области строительства.

Монах Рафаил, который тогда жил в Псково-Печерском монастыре, был прямой противоположностью беспокойному брату. Смиранный, молитвенный, и в то же время очень живой». Лещенков выяснил, что поначалу Огородникова обвинили в тунеядстве и 28 ноября 1978 года осудили на год лагерей. Но уже осенью 1979 года, после ареста в Ленинграде Владимира Пореша, друга и сподвижника Огородникова по так называемому христианскому семинару, состоялся повторный суд, и в 1980 году он получил за антисоветскую деятельность шесть лет лагерей и ссылку. Его гражданскую жену Елену Левашову не допустили на суд. Незадолго за ареста Саши отец Дмитрий Дудко узнал, что Лена беременна, и силой своего авторитета заставил Сашу обвенчаться с ней. Однако в ЗАГСе зарегистрировать брак Огородников отказался. Вскоре Лена родила сына Дмитрия, но даже это не поколебало чекистов. Она не получила ни одного свидания с Огородниковым. Лена осталась без средств к существованию с малолетним сыном.

Сгущалась атмосфера и над приходом отца Александра Меня, который всегда старался держаться подальше от политики. Отца Дмитрия Дудко после телераскаяния в июне 1980 года освободили из заключения. Следователя удивило то обстоятельство, что он, как и Глеб Якунин, жил неподалеку от метро «Речной вокзал». Причем в последнем подъезде жил Дудко, а в первом того же многоэтажного дома — Рой Медведев. Когда чекисты приходили с обыском к одному, то обязательно заглядывали к другому. От отца Дмитрия после его покаяния отшатнулись почти все его прихожане. Осталось лишь несколько человек, а сам он находился в депрессии. Один из прихожан отца Александра, друживший с отцом Дмитрием, навестил его после освобождения, и он поведал, что накануне выхода из тюрьмы чекисты особенно интересовались им и встречей с американским православным священником Иоанном Мейендорфом.

В сентябре 1980 года на суде последовало публичное покаяние Льва Регельсона, а в октябре — Виктора Капитанчука. Из шести арестованных православных христиан трое — священник Глеб Якунин, миряне Александр Огородников и Владимир Пореш — не предали никого и не стали публично каяться. И все же многим казалось, что противостояние советскому режиму сломлено и в Церкви. Неразгромленным оставался приход отца Александра Меня, хотя немало прихожан в этот период испытаний выпало из прихода. Одни —

не сумев преодолеть страха преследований, другие — в силу вульгарного конформизма. Во время одной из встреч с прихожанами он сказал: «Я никогда специально не старался, в отличие от, скажем, отца Дмитрия Дудко, чтобы меня посадили. Но сейчас в их плане работы я стою на первом месте, поскольку всех священников-диссидентов уже пересажали, а им надо работать. Сейчас остался один Мень — как пень. Так вот, друзья мои, если что-то со мной случится, я бы очень хотел, чтобы ваша жизнь продолжалась, как это было и при мне: чтобы вы продолжали встречаться, делать те же дела».

Летом 1979 года на частной московской квартире произошла встреча нескольких московских священников с гражданином США, деканом Свято-Владимирской семинарии под Нью-Йорком профессором-протопресвитером Иоанном Мейендорфом. Именно эта встреча послужила основой статьи Николая Домбковского в газете «Труд». Подробности благодаря прослушивающим устройствам и показаниям жителя Уфы Бориса Развеева, бывшего семинариста Александра Огородникова, стали известны сотрудникам «церковного» отдела КГБ. Отец Александр и в годы андроповских гонений умудрялся нелегально поддерживать связи с западными христианами: Никитой Струве, протопресвитером Иоанном Мейендорфом, с посещавшими СССР католическими богословами. Для того чтобы понять давнюю ситуацию гонений, следователям пришлось обратиться к прихожанину отца Александра, который был непосредственным участником встречи.

«Мое знакомство с профессором-протопресвитером Иоанном Мейендорфом произошло в конце 70-х годов, когда отец Иоанн был гостем сначала Московской Патриархии, а потом Академии наук СССР. Особенно мне запомнился его приезд в 1978 году. Он приезжал в составе делегации Американской автокефальной церкви вместе с ее предстоятелем — митрополитом Феодосием. Это был первый визит митрополита Феодосия в СССР. Делегация прибыла в Москву 28 сентября. В конце сентября 1978 года ко мне обратился отец Дмитрий Дудко, попросив сопроводить его на официальный прием к митрополиту в гостиницу «Советская» на Ленинградском проспекте, где остановилась делегация. У входа в гостиницу нас встретил отец Иоанн Мейендорф и сразу же повел в номер владыки Феодосия. Отец Дмитрий облачился тут же, в вестибюле. Митрополит радостно встретил его, но беседа была недолгой, поскольку официальная программа

визита владыки была чрезвычайно насыщенной. Тридцатого сентября делегация вылетела в Тбилиси, оттуда 3 октября — в Одессу, а 6 октября вернулась в Москву; 11 октября гости должны были вернуться в США. Меня попросили сфотографировать митрополита Феодосия вместе с отцом Дмитрием, отцом Иоанном и священниками, сопровождавшими митрополита.

После беседы у митрополита мы спустились в номер отца Иоанна, где состоялась почти двухчасовая беседа. Я стал свидетелем доброжелательного спора двух священников. Отец Дмитрий считал, что наступила пора, когда можно и должно идти на открытую конфронтацию с богоборческой властью, обличая пороки власть имущих, регулярно информируя западную общественность обо всех случаях нарушения прав верующих в СССР. Отец Иоанн, напротив, старался убедить отца Дмитрия в том, что открытая конфронтация может завершиться для него трагически. В том же 1978 году в Париже вышла книга Льва Регельсона «Трагедия Русской церкви» с послесловием отца Иоанна. Нам, молодым христианам, казалось, что прав Лев Регельсон, решительно осуждавший политику церковных компромиссов. Позиция отца Иоанна по отношению к политике митрополита Сергия (Страгородского) и его преемников казалась нам в те годы излишне дипломатичной. Оправдание компромиссов церковных иерархов с большевиками мы воспринимали как проявление недалекости отца Иоанна. Хотя странно было бы ожидать от него, выросшего в свободном обществе, глубинного понимания реалий авторитарного советского общества. Эти реалии мог вполне постигнуть только человек, выросший в СССР и свободный от идеологических шор. Многие черты антихристового царства были воплощены большевиками.

После этой беседы отец Иоанн попросил меня о встрече с несколькими московскими священниками у нас на квартире для обсуждения ряда внутрицерковных проблем. Мы договорились, что встреча пройдет после возвращения делегации из поездки по СССР. Однако встретиться нам удалось только через год, когда отец Иоанн был приглашен Академией наук СССР принять участие в симпозиуме византологов, который проходил в Тбилиси. Второго июня 1979 года отец Иоанн вернулся в Москву, куда его пригласил Отдел внешних церковных сношений Русской церкви. На этот раз программа его пребывания была не столь насыщенной, к тому же он приехал один, а не с официальной делегацией. В Москве он пробыл девять дней. Встречался с протоиереем Всеволо-

дом Шпиллером, с которым его связывала давняя дружба, и с рядом церковных иерархов.

В споре отца Иоанна с отцом Димитрием в сентябре 1978 года я считал, что правда на стороне отца Димитрия». В конце 70-х годов священник подвергался неоднократным гонениям. Он поддерживал постоянное общение с западными журналистами, которые запросто звонили ему домой. За рубежом выходили его книги. Тогда казалось, что КГБ, внимательно следивший за его служением в храме в селе Гребнево под Москвой, не посмеет тронуть священника с мировой известностью. Отец Иоанн думал иначе. Арест отца Димитрия в январе 1980 года, когда развернулись андроповские гонения на Церковь, показали правоту отца Иоанна. Публичное покаяние отца Димитрия по телевидению, а также интервью в газете «Известия», в котором он назвал имена людей, помогавших ему пересылать за рубеж его книги, привело к изоляции. Поведал он чекистам и о встрече на Речном вокзале с отцом Иоанном Мейендорфом.

Впоследствии оказалось, что позиция отца Иоанна Мейендорфа, в отличие от его московских друзей, совершенно по-иному была оценена «церковным» отделом КГБ. Не только встречу митрополита Феодосия с отцом Димитрием Дудко, проведенную по инициативе отца Иоанна, оценили негативно. Ему вменили в вину и его встречу летом 1979 года с московскими священниками на частной квартире на Речном вокзале — с отцом Глебом Якуниным, Александром Менем, Димитрием Дудко и диаконом Александром Борисовым. За ним установили плотную слежку, а квартира, скорее всего, прослушивалась. Более того, спустя семь лет, когда многие детали этих встреч стерлись в памяти участников, в газете «Труд» появился пасквиль Домбковского под названием «Крест на совести». Тираж «профсоюзной» газеты в эти годы был рекордным — семнадцать миллионов экземпляров. Домбковский якобы пересказывал события июня 1979 года со слов раскаявшегося Бориса Развеева, которого он навесил в лагере, куда Борис попал в конце 1984 года на четыре года за «клевету на советскую власть». Но Развеев не присутствовал на встрече. Лещенков выяснил, что случайно, без предупреждения, он приехал к своей давней приятельнице, привезя с собой американца Джона Степанчука, с которым только что познакомился на американской выставке в Сокольниках. Оказалось, что Джон, выросший в семье украинских эмигрантов в США, был прихожанином отца Иоанна. Они поздоровались с отцом Иоанном, а затем исчезли.

Получив доступ к секретной информации «церковного» отдела КГБ, с подачи полковника Владимира Сычева бойкий журналист «Труда» опубликовал политический донос. Одним из «героев» этого доноса стал отец Иоанн Мейендорф. Домбковский попытался создать его портрет в традициях бульварного детектива: «Теплым летним вечером из вестибюля станции метро “Речной вокзал” вышел немолодой элегантный мужчина. Холеная борода, отлично сшитый неброский костюм, неторопливые манеры — со стороны его можно было принять за писателя или ученого, решившего прогуляться после напряженного дня. Мужчина не спеша прошелся по тротуару, вернулся назад, рассеянно заглядывая в витрины магазинов. Лишь очень наблюдательный человек смог бы заметить, что незнакомец нервничает. Неожиданно он резко свернул во двор жилого дома и быстро нырнул в подъезд. На девятом этаже уже ждали, дверь открылась, едва он коснулся звонка...»

Эти детали, как понял опытный следователь, — не совсем удачная попытка художественного вымысла. С трудом освобождаясь от официальных приемов и встреч, отец Иоанн спешил повидаться с друзьями и вряд ли всерьез пытался уйти от слежки, хотя предполагал, что за ним могут следить. Отдел внешних церковных сношений, в который были внедрены штатные сотрудники КГБ, выстраивал программу иностранных гостей таким образом, чтобы у них не оставалось свободного времени. Что же касается слежки, то она велась весьма искусно. Священнику и ученому, выросшему в свободном мире, вряд было возможно распознать в толпе «топтунов». Обычно для слежки отбирались люди с незапоминающейся внешностью, с лицами простых рабочих. Этого не знал Домбковский, поэтому приписал отцу Иоанну несвойственные ему шпионские манеры.

Сегодня трудно поверить, что в те годы встречи с иностранцами проходили в обстановке тщательной конспирации, хотя и не всегда удавалось соблюсти все предосторожности. Из мирян во время беседы священников присутствовал только один прихожанин отца Александра. Позже, после многочисленных допросов в начале 80-х годов, стало ясно — прослушать полностью беседу чекистам не удалось. Поэтому неоднократно они пытались дознаться, допрашивая участников беседы, какие же проблемы обсуждались в тот летний вечер 1979 года. Находясь в лагере, Борис Развеев, один из случайных свидетелей встречи, попытался воспроизвести ее со слов чекистов, которые и легли в основу фельетона.

Порой эти детали в интерпретации КГБ выглядели смехотворно: «...И взрослые мужчины принялись всерьез обсуждать планы создания оппозиции, а по сути дела — антисоветского подполья с конкретными задачами... Программу действий излагал Глеб Якунин. Именно он первым взял слово. Суть предложений сводилась к следующему. Поскольку советская власть якобы преследует верующих, а Русская православная церковь закрывает, дескать, на это глаза, нужно создать в СССР другую церковь, которая, мол, и поведет борьбу “за права верующих”... Отец Иоанн и другие иерархи американской церкви, приезжая в СССР, будут рукополагать в священники людей, специально подобранных Якуниным и компанией. Со временем таким образом должна образоваться целая сеть тайных приходов. О привлечении туда верующих “оппозиционеры” позаботятся, хотя и тут, конечно, понадобится помощь Запада: передачи по радио, литература. Поскольку приходы эти будут подчиняться Американской православной церкви, то их территория, дескать, вполне может считаться территорией США, на которую не должны распространяться советские законы. А это значит — полная свобода действий в ущерб интересам Советского государства».

Лещенков получил подтверждение (не считая последнего абзаца — чекистских домыслов журналиста), что мнение отца Глеба изложено довольно точно. Отец Димитрий Дудко после своего освобождения из заключения в августе 1980 года рассказывал, как в Лефортово, уже перед самым его освобождением, следовательно с пристрастием допрашивали его, стремясь выяснить малейшие подробности этой встречи. В статье Домбковского точке зрения отца Глеба Якунина уделено немало места: «Чтобы упростить задачу подготовки подпольных священников, решить проблему “кадров”, участники встречи предложили открыть в СССР заочный сектор Свято-Владимирской духовной академии, находящейся в Нью-Йорке. Ну а если кто-нибудь попытается помешать реализовать эти планы, “борцы” готовы предоставить мировой общественности “полную информацию о гонениях на веру”. (Вот в этом-то уж можно не сомневаться! Мы с вами отлично понимаем, какие “факты” и каким образом были бы преподнесены “общественности”, прежде всего — “голосами”.)

— Что ж, — задумчиво произнес Мейендорф, — планы у вас интересные, есть над чем подумать. Но слова — это слова, а мне хотелось бы получить от вас по этому поводу программный документ. Это поможет там, в Штатах, подтвердить серьез-

ность ваших намерений тем, кто готов вам помогать. Сможете такой документ составить?

— Никаких проблем, — заверили его. — Мы уже подумали об этом...

Такой документ был подготовлен. Интересно, где и кому собирался предъявить его в США Мейендорф как доказательство существования в СССР “религиозной оппозиции”? В госдепартаменте? А может, в Лэнгли, в штаб-квартире ЦРУ?»

Вряд ли в те годы кого-то в США, кроме, быть может, нескольких религиозных и общественных деятелей, интересовала судьба российских христиан и Русской церкви. Политики если и вмешивались, то лишь под давлением общественности, робко пытаясь повлиять на советских государственных деятелей, убеждая их смягчить давление на верующих. Государственный терроризм в СССР по отношению к своим гражданам культивировался с 1917 года, изменившись лишь в годы оттепели и перестройки. Лещенкову было ясно, что никаких документов священники не готовили и не вручали отцу Иоанну. Участник встречи подтвердил: «Абсолютно искажена позиция отца Иоанна. Он всегда оставался верен себе. Он внимательно выслушал отца Глеба, а затем мнение отца Александра Меня, который уже в те годы практиковал в своем приходе, в селе Новая Деревня под Москвой, создание “малых групп”. Деятельность этих групп вполне охватывается термином “евангелизация”. Осуществлялось и христианское воспитание детей, которому в приходе уделялось особое место. Дети наших прихожан приезжали в подмосковный поселок на каникулы, а весной иногда удавалось выбраться вместе с ними на юг. К середине 80-х годов в приходе насчитывалось десять-двенадцать “малых групп”. КГБ проявлял к ним особый интерес, стремясь во что бы то ни стало разгромить их.

Отец Иоанн тогда присоединился к мнению отца Александра. Существование “малых групп”, в которых активные миряне занимались поначалу катехизацией оглашенных, а затем евангелизацией новокрещенных, показалось отцу Иоанну более отвечающим евангельскому духу, нежели создание подпольных приходов, которые неминуемо были бы противопоставлены Московскому Патриархату. Поэтому он пообещал, что попытается помочь как религиозной литературой, так и присылкой программ семинарских курсов». Позже, как узнал следователь, в начале 90-х годов, Свято-Владимирская семинария в США легально, с ведома светских и церковных властей, пыталась набирать вольнослушателей из России. С первыми кандидатами весной 1992 года беседовал отец Иоанн. Из десятка соискателей, среди которых, несомненно,





были и претенденты из числа опекаемых КГБ, он отобрал... одного человека! В Москве тогда же был открыт приход Американской автокефальной церкви — храм святой Екатерины на Ордынке.

Домбковский иногда начинал фантазировать: «Я держу в руках несколько страничек машинописного текста. Этот документ поступил от одного из жителей Москвы. И это — не что иное, как составная часть того самого плана, что обсуждался на “Речном вокзале”: инструкции, касающиеся создания в СССР... подпольной духовной семинарии! Вот описание предметов, которые должны

изучать “семинаристы”. По каждому — методические разработки, правда, еще не в полном объеме. Но зато подробно рассказывается, кто может стать слушателем заочного отделения, как его принимать, как проводить занятия и консультации с будущими служителями “подпольной церкви”. Еще страничка — планы снабжения зарубежной литературой, четко разработанная система контроля за обучением со стороны американских священников. А чуть дальше — список кандидатов на руководящие посты. И снова — в который уже раз! — все эти провокационные инструкции обиль-

но снабжены рассуждениями о “нелегкой судьбе” “борцов за веру”, очередными измышлениями о “гонениях” на них”. Скорее всего, Домбковскому дали писания Александра Огородникова, которые были изъяты во время обыска. Он, к сожалению, так и не смог овладеть хотя бы начатками конспирации. К встрече с отцом Иоанном не имел никакого отношения, поскольку уже находился в заключении. Все его творения, включая два невыпущенных номера семинарского журнала (оба так и остались в единственном экземпляре), изъяли чекисты.

На самом деле духовные школы в СССР в те годы находились в состоянии жесточайшего кризиса. Студенты вынуждены были заниматься по машинописным, давно устаревшим конспектам, в семинариях культивировалась атмосфера доношительства. Остро ощущалась нехватка квалифицированных преподавателей. Во время летней встречи в 1979 году было условлено, что православные священники из США, посещая СССР, будут общаться с верующими, молясь и беседуя с ними в «малых группах». Если бы удался замысел общения преподавателей из Свято-Владимирской семинарии с молодыми христианами из «малых групп», то к моменту крушения СССР могли вырасти добротные специалисты по Священному Писанию и церковной истории, гомилетике и исагогике. Сегодня они были бы востребованы не только в духовных школах, но и в институтах и средних школах.

Приезд отца Иоанна в СССР летом 1979 года был последним. Видимо, предчувствуя неминуемую кончину, «церковный» отдел КГБ во что бы то ни стало стремился доказать новой партноменклатуре, которую привлек из провинции Юрий Андропов, свою нужность. Быть может, поэтому отец Иоанн, известный четкой гражданской позицией по отношению к советской власти, стал персоной нон грата. Вплоть до крушения СССР ему отказывали во въездной визе. Летом 1980 года нескольких прихожан отца Александра вызывали на допрос, зная об их дружбе с отцом Глебом Якуниным. Допросы шли без пристрастия, формально, поскольку, видимо, к этому времени участь священника уже была определена. Один из них поведал Лещенкову о некоторых деталях допроса: «Я настаивал, что меня с отцом Глебом объединяли сугубо церковные проблемы. В политику не вмешивался, открытых писем не подписывал. Подобное объяснение вполне удовлетворило следователя. Перед отцом Глебом у меня был должок. Незадолго до ареста он сумел получить копию секретного доклада заместителя предсе-

дателя Совета по делам религий Василия Фурова, адресованного ЦК КПСС, в котором тот довольно правдиво описывал состояние дел в Русской православной церкви и делил епископат на три категории: лояльных, нелояльных и активно сотрудничавших с советскими органами. Отец Глеб отправил копию в Париж Никите Струве, а один экземпляр оставил мне для подстраховки — на тот случай, если вдруг его “канал” не сработает. После его ареста выяснилось, что “канал” не сработал. Мне предстояло еще подстраховать его и переслать доклад Фурова Никите Струве. После ареста отца Глеба я аккуратно уложил объемный доклад в целлофановый пакет и зарыл в огороде. Так он пролежал зиму, а весной 1981 года, благодаря помощи Бориса Михайлова, ныне почтенного московского батюшки, благополучно достиг Парижа и был опубликован в одном из номеров “Вестника РХД”. Шуму он наделал много и до сих пор остается одним из наиболее ценных документов по новейшей истории Русской церкви».

Над прихожанином гром грянул позже — 16 сентября 1982 года, когда к нему в его подмосковный дом ранним утром ввалилась команда чекистов во главе с капитаном Игумновым, который вместе с полковником Владимиром Сычевым курировал новодеревенский приход. Человек восемь перерыли весь дом, допросили в связи с публикацией его стихов в сборнике «Надежда», который издавала Зоя Крахмальникова. Допрашивал следователь Литовского КГБ Юркштас, которого чекисты шуточно называли Паоло, а руководил обыском следователь Таджикского КГБ капитан Осин. Им помогали майор Силантьев (куратор из Ивантеевского КГБ) и лейтенант Горбачев. Это был не единственный обыск. Почти в это же время в Москве работала другая группа чекистов под руководством начальника следгруппы УКГБ по Белгородской области подполковника Романовского с участием сотрудников КГБ СССР С. И. Пивоварова и М. Н. Митина по поручению старшего следователя КГБ СССР подполковника Губинского. Лещенков понял, что накануне смерти Брежнева Андропов, стремясь обновить столичные кадры, подтягивал и натаскивал лучших провинциальных чекистов.

Один из пострадавших прихожан отца Александра поведал следователю: «Юркштас вместе с Игумновым тут же допросил меня. Не стану описывать своих чувств после проведенного обыска. Его гениально определил отец Александр — словно залезли внутрь меня грязными руками и переворочили все внутренности. Во время обыска изъяли шестьдесят семь наименований — в основ-

ном ксерокопии религиозной литературы. Были изъяты книги отца Александра Меня, как изданные за рубежом, так и машинописные. Книги митрополита Антония (Блюма), "Откровенные рассказы странника своему духовному отцу". Я отчаянно пытался отбить религиозную литературу, но аргументы чекистов были железными — "Это же издано за рубежом! А вот это самиздат!" Рылись чекисты довольно вяло. Игуменов в это время вальяжно спал в удобном кресле. Проснувшись часа через два, он вновь прошелся по книжным полкам, вытащил несколько томов ксерокопий "Добротолубия", укорил чекистов за небрежение. "Это же несколько деревьев! Сдадим в макулатуру!" — разглагольствовал он.

Прямым следствием обыска и моего нежелания сотрудничать со следствием явилось увольнение с работы. В то время в течение семи лет я трудился в профкоме литераторов при издательстве "Художественная литература". Председатель профкома предупредила меня, что приходили сотрудники КГБ и в ультимативном тоне потребовали моего увольнения. Она предложила мне написать заявление по собственному желанию. У нас сложились добрые отношения, и я попросил немного времени на раздумья. Я понимал, что все равно меня уволят. Однако не это было самым неприятным в этой истории. Я предвидел, что отныне уже не получу никакой работы. А это означало, что придется перебиваться случайными заработками. Многие мои друзья из диссидентов пережили это унижение. Это называлось внесудебными преследованиями.

В ноябре 1982 года умер Брежнев, и к власти пришел Андропов. Отец Александр поддерживал пострадавших прихожан — в Московской духовной академии сменился ректор. В октябре 1982 года место ректора занял епископ Дмитровский Александр (Тимофеев), с которым отца Александра связывали дружеские отношения. Владыка Александр стремился обновить не только состав преподавателей: он решил сменить старые и давно устаревшие конспекты, по которым, вместо современных учебников, вынуждены были учиться семинаристы и академисты. Отец Александр привлекал прихожан как потенциальных авторов, подбрасывал курсовые и кандидатские диссертации тех семинаристов и академистов, которые самостоятельно не могли справиться с заданием. Так удавалось зарабатывать в самые трудные времена.

А в конце марта 1983 года одного из его прихожан как свидетеля вызвали на суд над Зоей Крахмальниковой. Стояла нестерпимая жара, нетипичная для этого времени года. Суд проходил

неподалеку от станции Лосиноостровская, в крохотном помещении. Окна были закрыты, и все задыхались от духоты. Чекисты поставили софиты, шла скрытая кино съемка судебного процесса. Он вспоминал: «Сначала пришлось долго ждать своей очереди в другой комнате вместе с другими свидетелями. К счастью, я захватил с собой "Мастера и Маргариту". Перечитывая любимый роман, я настолько увлекся, что забыл, где я. Во время суда мне задавали те же самые вопросы, что и на следствии: "Читал ли я критические статьи Зои Крахмальниковой в "Надежде"? Как я их оцениваю? Являются ли они антисоветскими?" Я придерживался той линии, которую избрал во время следствия: "Статьи просматривал, но не читал, поэтому ничего сказать о них не могу". Прокурор пытался меня поймать, задавал каверзные вопросы, но я твердо стоял на своем.

29 апреля 1983 года меня вызвали в Пушкинское отделение КГБ и дали подписать Указ Верховного Совета СССР. В нем значилось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью и что если и далее буду продолжать ее, то подвергнусь аресту. Чекисты потребовали, чтобы я поставил свою подпись под текстом Указа, — это означало, что я на самом деле ознакомлен с ним. Я подписался и попросил выдать мне на руки хотя бы копию Указа. Однако в этом мне было отказано. В конце 70-х — начале 80-х годов это означало одно — человека выталкивают из страны. Это было последнее предупреждение. Многие диссиденты после этого подавали документы в ОВИР и беспрепятственно покидали пределы России. В то время я твердо решил, что останусь в России, что бы со мной ни случилось. Меня поддерживал в этом решении отец Александр Мень. Мой учитель, поэт и переводчик, старый лагерник Аркадий Штейнберг сказал мне, когда я рассказал ему о последнем предупреждении: "Видите, мы живем в просвещенное время! Вас предупреждают! А вот нас не предупреждали — хватили среди ночи, избивали в камерах, а потом "тройки" давали стандартные десять лет лагерей».

Вскоре после этих событий был произведен обыск у бывшего прихожанина отца Александра — Владимира Никифорова. Оказалось, что за ним пристально следили. В конце 70-х годов он прислуживал в алтаре Сретенского храма в Новой Деревне. Никифоров считал, что настало время действовать более активно и создавать подпольные общины. Более того, он тщетно пытался поступить в Московскую духовную семинарию. Когда он поделился своими намерениями с отцом Александром, тот не только не поддержал его, но

и резко заявил, что если Никифоров не откажется от своих намерений, то будет вынужден покинуть новодеревенский приход. Это произошло, когда он узнал, что Никифоров предпринимает попытку тайно рукоположиться в сан священника. Отец Александр пытался убедить его в том, что в условиях тотальной слежки попытка создать тайную общину обречена на провал. Никифоров спорил и не соглашался. Но отец Александр, когда узнал, что во время поездки в Чехословакию Никифоров каким-то опальным католическим епископом был рукоположен, заявил ему, что отныне он не может быть его прихожанином. И предупредил об этом своих прихожан.

В общину Никифорова органы КГБ внедрили стукача, который предал всех. Репрессии коснулись не только самого Никифорова — он был арестован осенью 1983 года и дал показания на многих новодеревенских прихожан. Пострадали члены его общины, а также прихожане Новой Деревни. Неоднократно на допросы вызывали отца Александра. Пришлось побывать в КГБ и другим прихожанам. Бывший соратник Никифорова Александр Хмельницкий позже вспоминал о встречах и богослужениях на московских квартирах: «Впрочем, это нам только казалось, что все происходит тайно. На самом деле КГБ, по всей видимости, уже тогда тщательно отслеживал деятельность Никифорова и его группы, так же как неусыпно следил и за отцом Александром Менем. Нам действительно трудно было пожаловаться на недостаток внимания со стороны КГБ. В начале 1983 года органы безопасности развернули широкомасштабную операцию, которую они называли социальной профилактикой. Они поставили перед собой задачу уничтожить все подпольные или, по крайней мере, неофициально существовавшие религиозные группы: православные, католические, протестантские, экуменические, теософские, кришнаитские. Как правило, арестовывали руководителей и запугивали остальных угрозами ареста, обысками, допросами, письмами на ра-

боту, увольнениями — у них был довольно широкий набор средств воздействия. К этому времени Владимир Никифоров вынужден был покинуть приход отца Александра Меня, к которому когда-то был очень близок. Поскольку был тайно рукоположен в сан священника в Словакии неким подпольным католическим епископом. Впрочем, как выяснилось позднее, он был самосвятом. Но никто этого тогда не знал, и все, в том числе и КГБ, воспринимали Никифорова как полноценного священника.

В начале 1983 года гэбисты задержали сначала меня, а потом Никифорова. Они знали, что между нами существуют разногласия, и умело ими воспользовались. Никифорову сказали, что Хмельницкий якобы уже сообщил нужные им сведения, предложили обо всем написать и пообещали после этого отпустить домой. Так он и сделал, а придя домой, известил всех, что Хмельницкий — предатель. И я оказался между двух огней. Все братья и сестры по группе шарахались от меня, как от зачумленного, а люди из ГБ демонстративно ходили за мной (и за другими тоже) по пятам — ради устрашения. Затем Никифорова арестовали и продержали в Лефортовской тюрьме несколько месяцев. Он избрал путь “чистосердечного” сотрудничества с органами и, насколько я знаю, написал объемное сочинение, в котором немало страниц было посвящено отцу Александру Меню. Эти-то страницы КГБ и использовал на многочисленных допросах, которым гэбисты подвергали отца Александра.

7 января 1984 года они отпустили Никифорова как уже “социально не опасного”. А через какое-то время в главных коммунистических газетах стран, по преимуществу католических, появился “сенсационный” материал. Со ссылкой на высказывания Владимира Никифорова разоблачались происки Ватикана, создавшего в СССР шпионскую сеть для распространения антисоветской литературы и подрыва нашего чудесного социалистического строя...»

Продолжение следует.



**Дарья БУРДИНА**

Я, Дарья Бурдина, родилась в 1998 году, учусь в одиннадцатом классе. В этом году я заканчиваю школу и мне предстоит выбрать путь и дело, которым посвящу свою жизнь. Моя мечта — литературное творчество во всех его проявлениях. Искренне верю, что мое желание исполнится и я смогу реализовать задуманное.

С раннего детства мне нравилось фантазировать и придумывать различные истории. Темы для своих рассказов и стихотворений я черпаю из жизни, переживая сильные личные впечатления.

В этом году я участвовала в нескольких литературных конкурсах. Результат был успешным, но понимаю, что нужно многому учиться и трудиться, чтобы овладеть писательским искусством.

Я натура увлекающаяся. Очень люблю театр и пытаюсь проявлять себя и в этом направлении. На школьной сцене мною были поставлены театральные миниатюры по мотивам комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», мини-спектакль о Чарли Чаплине. Побывав во Франции на курсе изучения языка, я удивила учителей и учащихся школы постановкой «Ревизора» и «Пигмалиона» на французском языке. Перевод отрывков из этих произведений я сделала самостоятельно.

Многие годы я участвую в работе регионального общественного молодежного корчаковского центра «Наш дом». В нем я занимаюсь организацией театрализованных проектов.

В прошлом году у меня появилась возможность ощутить себя и в роли журналиста. В газете одного из районов Москвы опубликованы мои статьи об истории города.

Я очень благодарна редакции журнала «Юность» за поддержку и проявленный интерес ко мне как к начинающему литератору.

## СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

1.

**К**ак спокоен и безмятежен чистый, струящийся летний воздух! Как гармонично сочетаются соловьиные трели с порывами солнечного легкого ветра! Какое молчаливое торжество царит среди изумрудной листвы, переливающейся на жарком и радуж-

ном солнце алмазными каплями грибного дождя! Медлительный караван облаков, словно кем-то тщательно прорисованный, беспрерывно меняет белоснежные декорации на голубом небосводе. Свистящий полет ласточки, трудолюбивое и кропотливое

жужжание пчел и пушистых шмелей, оркестр из скрипачей-кузнечиков — все это ежесекундно наполняло бранный ход времени в деревне Носово.

Носовцы были на редкость спокойными и тихими людьми. У каждого имелся ухоженный

зеленый участок с аккуратным домиком, походившим на игрушечный. Все занимались своими дачными делами: кто газон косил, кто подстригал садовые деревья, придавая им округлые формы, а кто поливал клумбы, усаженные всеми возможными и невозможными цветами. Все дачники друг друга знали и каждый вечер устраивали чайные посиделки, на которых Андрей Кузьмич музицировал на стареньком рояле, напевая: «Я в весеннем лесу пил березовый сок...» Пожилые дамы (обычно они приходили на посиделки) наряжались в платья, находили у себя в закромах старинные украшения и на каждый комплимент в их адрес прикрывались рукой и искренне щебетали: «Ах, что вы, что вы! Этому платьишку сто лет!» Так оно и было. Мужчины надевали клетчатые рубашки и затрепанные бабочки. Каждый муж крутился вокруг своей супруги и, несмотря на преклонный возраст, ухаживал за своей дамой сердца не хуже молодого повесы. И во всей этой, казалось бы, нелепости чувствовалась неповторимая прелесть, которая разносилась по всем уголкам тихой деревушки. Но среди пожилой и пестрой компании всегда находились два молодых человека, с которыми обязательно происходила какая-нибудь странная история.

## 2.

В семье Горьких праздновали семь месяцев со дня рождения внучки — маленькой Сонечки. Поднимали тосты за именинницу, за здоровье родителей, за первые золотистые волосики на девичьей головке, за первый зубик... Сонечку передавали по кругу, она широко

улыбалась и хлопала светлыми ресничками, издавая при этом радостный, искрящийся звук.

Больше всего девочке нравилось оставаться на руках у Вари с Сережей, которых пожилые люди окрестили женихом и невестой, хотя им шел всего семнадцатый год, да и нежных чувств Варя к Сергею не испытывала. Но Сергей давно питал к своей названной невесте сильные и настоящие чувства. Несмотря на жесткий характер, лицо Варвары отличалось мягкостью. Детское выражение глаз давно исчезло, и появился новый, таинственный и неведомый образ, заставляющий Сергея трепетать всем существом. Темные густые волосы обрамляли ее бледное лицо. Прозрачно-серые глаза выглядывали из-под черных ресниц.

Оказавшись на Вариних руках, Сонечка вцепилась своими тоненькими ручками в расшитый девичий воротник и радостно задргала ножками.

— Тише, тише, — заулыбалась Варя, слегка отстраняясь. — Сереж, возьми ее.

Хитрая Сонька будто бы поняла, что теперь ее держит видный молодой человек. Она провела пальчиком по его курчавым светлым волосам, потом крепко-крепко обхватила ручками его шею и громко чмокнула в щеку.

— Настоящей женщиной растет! — послышалось из-за стола, и все засмеялись.

— Настоящая женщина здесь, со мной сидит, — тихо сказал Сережа и обернулся к Варе.

Будто ничего не услышав, Варвара отвернулась, надменно приподняв подбородок. Прищурился Сергей медленными глазами, горячая

ладонью бледные пальчики девушки. Варя, строго сверкнув глазами, которые превратились в пепельные угольки, молниеносно отдернула руку.

## 3.

Утром Варя, по обыкновению, сидела в открытой беседке и наслаждалась чтением. Теперь в ее руках находилась «Избранная проза» И. А. Бунина. Варя читала «Антоновские яблоки»: «Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой сад, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок...»

— Боже! — вскрикнула Варя, не в силах сдерживать возглас восхищения. — Как же возможно так писать? Как нужно любить свою родину, чтобы так живо описывать ее!

Варя откинулась на спинку кресла и почувствовала, как сильно забилося сердце. «Если бы я была писательницей, то обязательно посвятила одно из своих произведений нашей неповторимой природе», — вдохновенно подумала она и опять погрузилась в чтение. Бунин повествовал: «Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке не много светлее, а над головой белеет Млечный Путь».

— Млечный Путь, — повторила Варя и обернулась в сторону сада.

Кудрявые яблони, усыпанные еще не созревшими крохотными плодами, молча

ливо склоняли свои могучие ветви к земле, из которой поднимался жаркий, пыльный воздух. Пышные кусты красной смородины походили на сочетание зеленого и красного граната. Тонкие стволы белоснежных берез еле слышно колыхались от редких порывов знойного ветра и шумели зелеными густыми косами. Вокруг малинника кружили сердитые шмелики, неумолимо пытаясь забраться в розовые подушечки сладкого плода. Теперь Варя смотрела на природу другими — бунинскими глазами.

Больше всего ее привлек гибнувший розовый куст. Падающие алые лепестки завораживали Варю своей беззащитностью. Поникшие лепестки напомнили ей гербарий, который она собирала на протяжении нескольких лет. Куст не искрился на солнце, к нему не подлетали шумные пчелы и шмели. Розовый куст медленно и безвозвратно покидала жизнь.

Вдруг Варя услышала торпливый шум и отвела глаза от погибающего куста. Из-за угла показалась долговязая фигура Сережи. «Вечно он мешает мыслям!» — рассерженно подумала Варя и уткнулась в книгу.

Сергей привык к такой безмятежности, но сам он никогда не признавал спокойного течения судьбы. Он был импульсивным, нервным, живым, с вечно горячими руками. Его золотисто-карие глаза живо смотрели на мир, пытаясь не упустить ни одной детали. Сергей с трепетом глядел на Варю, пряча за спиной букетик васильков. Решив привлечь к себе внимание, он демонстративно откашлялся и театрально заговорил:

— Приветствую тебя, о лик туманный! Позволь вручить тебе дары земли...

Варя нехотя подняла глаза и, заметив цветы, глубоко вздохнула:

— Поставь в вазу.

Она махнула она рукой и продолжила читать. Вздохнув, Сергей послушно отыскал вазу и поставил ее на столик. Не смея отвлекать Варю, он встал сзади, лелея глазами ее упрямый локон на бледной шее.

— Чего стоишь? Садись! — четко проговорила Варя, чувствуя томный взгляд своего воздыхателя.

Сережа сел. Наклонившись к книге, он вслух прочитал:

— «Бу-нин». А что ты сейчас читаешь?

— «Антоновские яблоки», — вздохнула Варя и перевернула страницу.

Глаза Сергея засияли.

— Я очень люблю это произведение. Я хочу так же необыкновенно описывать природу. — Тут он обернулся. — Вот, посмотри, какая жизнь! Как шумит сад! Какое движение создают эти трудяги-пчелы! Я не могу...

— Вот и я не могу сосредоточиться, когда ты начинаешь говорить! — сердито сказала Варя и прикрыла книгу. — Тебя слушаешь и устанешь в ту же секунду!

— Ну, загадочная моя, что же мне делать? — как бы извиняясь за свою громкость, проговорил Сережа и подвинулся ближе. — Что же делать, если твой Сережа таким уродился. Я как увижу тебя, так и остановиться не могу: все несу что-то...

— Во-первых, ты не мой, и я устала тебе это повторять, — серьезно заговорила Варвара, — а во-вторых, ты не носи ничего! Молчи —

и все. — Набрав побольше воздуха, Варя с облегчением выдохнула: — А лучше не приходи! Я читать хочу. — Она подняла на него свои блеклые глаза и тут же отвернулась от горячего и темного взгляда.

Внутри у Сергея что-то начало щемить и горько ныть. Он встал и, сжимая кулаки от боли, посмотрел на сад. Что-то страшное творилось в его бурлящей душе. Он чувствовал, что вера, которой он жил, начинает покидать его. Все эти шутки о женихе и невесте были для него главной составляющей его жизни, поэтому последнее замечание Вари ударило его в самое сердце, и Сергей ощутил страшное горе. Сжав губы, он еще раз взглянул на эти волосы, на вечно опущенные плечи, на бархатные ресницы, на кроткие и спокойные губы... Сережа рухнул на колени и сжал хрупкие Варины пальчики трясущимися руками. Та дернулась.

— Я тебя прошу! Останься! Останься! — неистово вскричал Сергей и склонил голову к Вариным коленям.

Ее глаза испуганно забегали. Слегка наклонив голову набок, Варя опустила на стул. Громко и часто дыша, Сергей не мог прийти в себя от мысли, которая начала переполнять все его существо.

— Варя, — прошептал он и еще сильнее сжал ладони, — Варенька, единственная моя... — Он поднял глаза, полные страдальческой мольбы, но увидел лишь мертвенную пустоту. — Ты прекрасно знаешь, что я испытываю к тебе на протяжении долгих лет, — затараторил он, обхватив ее локти, — я не могу больше так! Ты все время только сидишь и упрекаешь меня в моей живости!

Но ты постоянно рядом!  
Рядом! Это невыносимо!

«Погибает», — тихо сказала про себя Варя и, улыбнувшись, вновь устремила свой взгляд на розовый куст.

— От чего ты отвернулась? — вскрикнул Сергей. — От меня, да? Да пойми ты, что твоё молчание для меня невыносимо! Я же люблю тебя! Больше жизни люблю, Варя!

Жгучая боль пронзила сердце Сергея, и у него помутнело в глазах. Обезумев, он резкими движениями дотрагивался жаркими губами до белых Вариных рук и чувствовал, как горячие слезы обрушиваются на её длинные пальцы.

— Одно слово, один короткий ответ, — шептал Сергей сквозь слезы.

Варя занервничала.

— Погоди, — вдруг сказала она, решив прекратить эту плаксивую сцену, — ты лучше взгляни на розовый куст. Смотри, как колышутся лепестки.

— Конечно, — оторопел Сережа и устремил безумные глаза на Варю, — куст гибнет, и лепестки осыпаются.

— Красиво, — проникновенно сказала Варя, не отрывая взгляда от куста.

— Где же здесь красота, Варенька? — испуганно спросил Сергей и отпрянул от нее. — Куст же погибает!

— Ну и что! — возразила она и раскрыла книгу. — У Бунина любовь и жизнь погибают на самом пике счастья...

— При чем здесь Бунин, Варя?! — с ужасом воскликнул Сережа и прыжком поднялся с колен. — Я тебе о своей любви говорю, о настоящей, не выдуманной!

Варя снова уткнулась в книгу. Сергей не чувствовал ног. Ему казалось, что что-то очень важное и дорогое начинает по-

гибать у него на глазах, а предотвратить этот уход он не в состоянии. Сергей обреченно сел на ступеньку и запустил в волосы трясущиеся пальцы.

— Так тебе нравится гибнущий розовый куст? — зажмурив глаза, проговорил он.

— Да, — так же тихо ответила Варя. — Сереж, иди. Я устала и хочу дочитать Бунина.

Сергей встал и больше никогда не оборачивался к холодной Варе. Он взглянул на осыпающиеся лепестки и почувствовал, как закружилась голова.

— Иду, — прошептал он и, собрав последние силы, поплелся по шумному саду.

Увидев, что Сергея нет, Варенька облегченно вздохнула и прочитала последние строчки «Антоновских яблок»: «Широки мои ворота растворял, Белым снегом путь-дорогу заметал».

#### 4.

Сергей шел, опустив голову, не замечая, как его ступни касаются сухой, покрытой мелкими острыми камушками земли. Подняв голову, он мог увидеть лишь нечеткие очертания предметов: расплывающееся солнце, растворяющиеся шумные деревья, а поле виделось ему гладким, словно ровно прорисованная черта. Линия горизонта ходила ходуном и напоминала пульсирующую диаграмму. Сергей шел, будто кем-то зомбированный.

— Веры нет... нет веры... не во что верить... погибло... все погибло, — бормотал он скороговоркой, заложив похолодевшие руки за спину.

Через несколько мгновений Сергей оказался у подножия старого дуба, самого

высокого и древнего дерева в деревне. Не раздумывая, Сережа уцепился за толстую ветку, перегнулся всем корпусом и быстро-быстро полез наверх.

— Розовый... розовый... куст... красота... гибнет... погибает... куст... красота, — восторженно тараторил он и все лез и лез, пока не оказался на самой верхушке, колышущейся от каждого дуновения ветра.

Сережа посмотрел вниз. Под ним была груда строительных камней, смешанных с цементом. «Метров двадцать, не меньше», — промелькнуло у него в голове. Содрогаясь, он встал на самый краешек еле удерживающей его ветки — так, чтобы упасть прямо на груды камней. Сергей закрыл глаза и вдруг представил падающие алые лепестки, подхватываемые порывами ветра. Он увидел, будто в замедленной съемке, как шумно и живо отрывается от своего материнского цветка этот маленький беззащитный огонек. И вдруг его оглушил сильный, безумный крик. Этот крик будто ожидал подходящего момента, чтобы вырваться на свободу из динамичной души. Сергей кричал так неистово, так оглушительно, что почувствовал, как кружится его одуревшая голова. Он не выдержал и, попятившись назад, покачиваясь, крепко обхватил старый ствол дерева и громко зарыдал. Вдруг Сережа почувствовал, что что-то очень нежное и теплое коснулось его волос. Он поднял глаза и увидел яркое, обжигающее солнце. Небо, глубокое, чистое небо окутало летнюю землю. Легкие перистые облака покрывали



нежным слоем солнечный свет и создавали искреннюю гармонию. Лучи солнца прорезали эту белоснежную вату,

образуя светлый поток, словно снисходящий от неба до самой земли. Где-то вдалеке послышался глухой звук зве-

нящих колоколов. Казалось, что он раздаётся по всему голубому небосводу. Теперь Сергей плакал от счастья.

г. Москва



**Юлия ВертелА**

**Юлия Власова** (писательский псевдоним **Юлия ВертелА**) родилась в 1967 году, живет в Санкт-Петербурге (Пушкин, Царское Село). Окончила биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета. С 2007 года — член Союза писателей России. Прозаик, работающий в жанре минимализма. Автор книги рассказов «Бери и рисуй» (2008), сборника повестей и рассказов «Интенсивная терапия» (2011). Печаталась в «Литературной газете», журналах «Нева», «Урал», «Петербургская свадьба», «Твоя история», других изданиях. Лауреат премии журнала «Нева» за лучшее литературное произведение 2010 года (номинация «Дебют»).

## ИГРЫ В ПТИЧЕК

**У**тром я двигаю на дереве птичек — их две: серенькая и вторая потолще — красненькая.

— Зачем ты это делаешь?

— Им скучно сидеть на одном месте.

Игрушечные птички из перьев прикручены к веткам лимона тонкой проволокой.

— Какая из этих птичек ты, какая — я?

— Ты — красненькая.

— Потому что толще?

— Нет, потому что ты — в красных брюках.

У меня есть красные брюки — я ношу их пятый год.

И люблю за вызывающий цвет.

— Видишь, красненькая — заметная, а я — невзрачный, — поясняешь ты.

Мне больше нравится серенькая: она интелли-

гентная. Но разухабистая красная больше похожа на меня. И я соглашаюсь с распределением ролей.

— А как ты думаешь, лучше повернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга, или как сейчас — чтобы смотрели в одну сторону?

— Если они смотрят в одну сторону, значит, вместе полетят.

— А если друг на друга — то будут совокупляться?

— Я никогда не видел, чтобы птицы совокуплялись на деревьях.

— А где же тогда они совокупляются? На почве? Или в норах?

— Не знаю, они делают это как-то незаметно, вот собаки — на виду...

— А почему?

— Потому что они братья и сестры людей. А птицы — они другие...

Лимон я вырастила из косточки, птичек мне подарили дети. Это мой сад. Я гуляю в нем, мечтаю и каждое утро двигаю птичек, чтобы им не было скучно.

— Мне кажется, ты боишься, что я ненадежная.

— Уже почти не боюсь.

— Я буду повышать свою надежность. Заметь, ут-

ром я сходила за овощами на суп. Ты дал мне столярник, а я доложила еще и свой — чтобы купить побольше и повкуснее. После супа я разводила клей для обоев, правда, клеить сил уже не осталось. Но я полежу пять минут и опять пойду приносить пользу...

Ты нисколько не веришь — про пять минут и про то, что я чего-то поклею.

Мы лежим на разошедшемся паркете, я на — твоей руке, ты — под лимоном.

— Смотри, серенькая птичка на тоненькой ветке неуверенно покачивается, а красненькая — сидит на толстой, устойчивой ветке, и голова у нее гордо поднята.

— Все ты выдумал! У серенькой хвостик веселый топорщится, а у красненькой вниз опущен. И груд-

ка у нее красная, потому что сердце кровоточит...

— Нет, это не я выдумываю, а ты все время играешь.

Я играю, чтобы не было скучно. Множество маленьких игр — это и есть я. Ты почему-то думаешь, что снимешь с меня маски — и под ними откроется нечто истинное, но мои игры — самое истинное из всего, что я делаю. И под ними нет другой меня...

Вечером я принесла в свой сад деревянного котика. Он рыжий и смотрит на птичек. От этого волнуются они, от этого волнуется котик. От этого волнуюсь я, придумывая новую игру. В нее втягивается воробей, живущий под крышей дома в выщербине лепки, я бросаю ему булку, и нам весело.

И ты прав, надежности во мне ни на грош, как в этом воробье...

## ЛОЛ-ТЕЛЕПАТИЯ

**Ч**ем больше ждешь события, тем больше ждешь от события...

— Не пиши сценариев, — советует подруга.

Но как же не писать? Если я только этим и занимаюсь.

Я и этот день придумывала тысячи раз. И чем больше придумывала, тем больше день становился сначала месяцем, потом годом, потом бесконечностью...

Наверное, поэтому, когда увидела на табло Московского вокзала, что поезд, на котором ты приедешь, отсутствует, паники не испытала...

На бумажке наскрябано: «14.14, п. 220, вагон 3».

Наверное, не так записала.

Подрагивающими пальцами сжимаю сотовый.

— Ты где? Твоего поезда на табло нет.

— Но я подъезжаю.

— Почему же он отсутствует в расписании?

— Мне тут сосед подсказывает: прибудем на Ладожский.

— Это метро «Ладожская», что ли?

— Кто в Питере живет: ты или я? — Гоготание в трубке.

— Я думала, все поездов из Москвы приезжают на Московский вокзал.

Я много чего думала...

Например, что Поцелуев мост так назван, потому что на

нем целуются, а правильный ответ: рядом с ним жил купец Поцелуев. Я всегда знаю неправильные ответы. Вот только как это использовать с пользой? Видимо, никак.

Что бы ни говорили гороскопы и расписания, мы встретились — в одинакового цвета оранжевых майках: моя с оборками, твоя — чуть оранжевей и ярче. Ты называешь это лол-телепатией: смешные совпадения, как оказалось, не только в мыслях, но и в одежде.

Из всего лета это был самый нежаркий день — мягкий, с ветерком и нежгучим солнцем. Наверное, август

забыл, что нужно быть знойным, поглядывая, что же будут делать эти двое.

А мы сидели на каменных ступеньках набережной, и зеленоватая вода плескалась у самых ног. У тебя второй палец на ноге больше первого. У меня на-тертая мозоль на пятке.

Прошли пешком весь Невский. Но у реки — лучше.

— Знаешь, я наконец-то ослабился, с тобой так просто.

— А мне с тобой.

Счастье — это тихий разговор между солнцем, водой и воздухом. И суша для него не нужна, точнее, не важна. Она присутствует берегами, островами, доньями. Но светится не твердь, а воздух, в котором полуулыбкой блуждает отраженное в волнах сияние...

Маленький катер. Пристроились у самого бортика. У тебя между коленями зажата бутылка шампанского, у меня — пластиковый стаканчик. Экскурсия по рекам и каналам...

— Неужели раньше не плавала?

— Не-а.

— Понятно, сам на Красную площадь только с гостями.

Мы заплываем внутрь незнакомо-го города, возможно,

он похож на Венецию. Возможно, ни на что не похож, а такой и есть — с чувственными переливами красок, несевойной архитектурой и романтическим привкусом трехсотлетней истории.

— Здесь жил Гаврила Романович Державин... А это площадь...

— Тебе нравится?

— Очень!

Складываются узоры берегового калейдоскопа: краешек Новой Голландии, голубая церквушка, стрелой уходящая в небо.

Мосты — Зеленый, Синий, Красный.

Ласковые лучики в лицо и пузырьки шампанского — в нос.

Оборачиваясь вполборота, вижу — ты тоже улыбаешься...

Если суша в тот день и была, то в виде суши в ресторане «Две палочки» на Невском. Натрескалась так, что не могла подняться из-за столика. Мисо, салат из маринованных цветных водорослей и специально для меня заказанные роллы с икрой и гребешком — все пробую первый раз, наслаждаясь — повторы не запоминаются. А тут запоминаются даже надписи на спинах

официантов «не пойман — не кайф», «говорю то, что думаю, и поэтому молчу»...

— Ты на меня смотришь так, что дырку просверлишь.

— Ага, просверлю... — смеюсь, и настроение продолжает светиться, как воздух над рекой, — оттенками счастья.

В переходе метро ты купил мне букетик флоксов.

— Смотри, эти цветочки обычные: белый, розовый, а этот — особенный, да?

— Да.

Густо-лиловый, немного разбеленный. Пахнет, как и вся наша прогулка — милотетной летней радостью.

Тогда я забыла тебе сказать, но теперь уж непременно:

— Димка, это был лучший букет в городе!

Я получила больше, чем ждала. Но чуток меньше, чем мечтала. Потому что я даже мечтаю неправильно, и мне кажется, что Поцелуев мост, конечно же, только для поцелуев, а купец там жил, наверное, по ошибке...

Но знаешь, что самое удивительное? Негромкое умиротворение подобных дней не забывается, даже когда забудется все остальное...

## НА ЯЗЫКЕ УСКОЛЬЗАНИЯ

**- В**ечно ты со мной разговариваешь на языке ускользания!

Ты прав, мне не удается однозначность. И ускользаю я не от боязни сказать о чем-то твердо и определенно, а потому что и нет во мне этой определенно-

сти — балансирую в полустойчивых измерениях...

Однако по сумме впечатлений быть счастливой мне удается чаще, чем несчастливой...

В тот день я вспомнила себя настоящую.

Все совпало: ранняя весна с брейгелевскими ветками на фоне невесомого неба и ощущение едва раскрывшейся любви...

Такие дни описывать сложно, как сложно ответить на вопрос, кто же я.

Щемящие краски и интонации подобных состояний разгадала еще в юности, и, оказывается, они никуда не терялись. Стоило только отъехать от Петербурга в сторону Москвы...

Памятник Пушкину повернулся к нам поэтическим задом, чтобы не видеть спрятанную в кульке бутылку...

— Посидим на скамеечке?

Мы пили брют из пивных стаканчиков, и, запрокинув голову, ты сказал:

— Смотри, какие ветки!

Это было попадание в одну из моих самых любимых картин, какие случаются

только весной в те недолгие часы, когда солнце плотно укутано в девственно-прохладной выси, но свет сочится из глубины, придавая верхушкам и боковым прядкам деревьев первозданную трогательность и тональность.

Прочерченность черного на белесом — как тайнопись — штрихи, сплетения, изломы...

Строгое, но уже распаханное небо — готовое обнять тосящие и застенчивые ветки...

Тогда на скамеечке я не смогла тебе ничего сказать и сейчас не смогу...

Подруга допытывалась:

— Ну скажи, что у вас было?

И опять я оказалась бессильна...

Что было? Жемчужное небо, расчерченное тушью. Твоя рука — большая, мужская, теплая. Я сжимала ее так крепко, как в детстве сжимала папину руку, когда была горда, что он рядом, и мне хотелось всем сказать: вот он какой — мой папа, и вот оно какое — мое счастье. Ведь счастье незамысловато в своей теплоте и радости.

А самые дорогие воспоминания всегда просты и почему-то непересказуемы, но именно они становятся частью нашего сердца и нашего внутреннего неба, подсвеченного любовью.

## СКАМЕЙКА МЕЧТЫ

**К**аждый день, начатый и брошенный на середине, уходит. То, о чем мечтаешь, ни сделать, ни наметить — не хватает сил.

Каждый день — чувство, что везде опоздала. Нет, не на работу или домой. Как раз повседневное наваливается с такой плотностью, что забирает вовремя и навсегда.

Каждый день. Опаздываешь разглядеть этот самый...

Каждый день.

Иду в магазин. За продуктами.

Но почему-то сворачиваю в железнодорожную кассу. И покупаю билет до Москвы.

— Что такое ад? Верхняя боковая у туалета. — Мужики ржут. Им плацкарта не достается.

А мне достается билет. И завтрашний день. С жел-

тыми березками у метро «Тимирязевская». И светом из окна квартиры на четвертом этаже. Где гостеприимная Фанечка поднимает крышки на кастрюлях.

— Что будешь: фрикадельки? курицу? фаршированные перцы?

— С морковкой и рисом? Ух ты! Бабушка такие делала.

— Перцы так перцы. Им, правда, третий день. Ты не ешь подливку, она уже с кислинкой.

— Не-е-ет, все вкусно! О-очень!

И серый московский кот — очень. И перезревшие в бордовом цвете астры — очень и очень.

И ощущение перемен — сейчасных. Беззаботных. Светлых!

Мне трудно объяснить Фанечке, зачем я в Москве.

Все время думала о поездке. Но решила внезапно. Будто что-то торкнуло внутри — что так правильно.

Позвонила Димке и призналась, что хочу посидеть с ним полчаса на скамеечке мечты — той самой, про которую он столько рассказывал. На которой убывал луну в минуты грусти, мечтал и иногда секретничал со мной по телефону.

Мир борется за жизни чилийских шахтеров. Открывается новая полярная станция в Арктике. Профсоюзы Франции объявляют забастовки. А я приехала в другой город — просто посидеть на скамеечке. И как такое объяснить?..

Великодушная Фанечка достает из серванта бусы крупного жемчуга.

— Возьми себе на память. Тебе ведь сколько?

— Двадцать три.  
— А мне пятьдесят девять.  
Ты мне почти как доченька.  
Выхожу от подруги  
в полдень с перламутровой радугой на шее.

Трамвайные рельсы пересыпаны осенними листьями, как разноцветной яшмой.

Я пообещала отправиться в сторону «Тимирязевки», где учились мои родители.

Но, преодолев пару кварталов, отбрасываю желание на середине. И уже не хочется спешить к конкретной цели, и так уютно забиться в уголок случайной остановки, глаза на поток воскресной жизни. В городе более южном, чем мой. В городе, где много-много людей. Где я — никто.

Димка занят первую половину дня.

Меня по инерции сносит к Арбату.

Веселые негры приглашают за сувенирами. Баба в кокошнике дергает балалайку, собирая в жестяную банку мелочь.

Зайти в самый дорогой магазин на самой дорогой улице — бесплатное удовольствие, за которое осудит только продавец, измученный не выбором, а выбором...

— Какой запах нравится вашему мужчине?

Мне нравится запах самого мужчины. Я не знаю, какой запах приложить к нему, и надо ли?

В руке зажимаю веер пробных бумажек с ароматами.

— Предпочитаю цитрусовый оттенок.

— Вот с мандарином и сандалом. Брызнуть вам на запястье?

— Да. Вкусно.

Оба запястья использованы, а я так и не выбрала...

На афише театра Вахтангова вечная «Чайка».

В кинотеатре «Художественный» — осенний Берналь. Сто раз посмотренная мной «Наука сна».

А запястье все еще пахнет мандарином. Нотками пачули и табака. И к ним в букет — испанская гитара, зачищенная уличным певцом до лихорадки.

Посылаю эсэмэску: «Когда освободишься, позвони».

— Улитка, ты где? Подъезжай к «Академической». Встречу на машине.

Так славно сидеть у памятника узкоглазому Хо Ши Мину, щуриться на солнце и болтать ногами, как будто бы тебе пятнадцать и «нет ничего дороже независимости и свободы»...

А потом плакать и смеяться у лифта. Рассказывая друг другу то, что слышно по глазам, оставляя слова бессмысленными, как нечитаемый состав хмелящего коктейля.

И слушать музыку. Твою любимую. Мою. И удивляться:

— Я десять лет искала эту песню. А у тебя нашла...

И от усталости калачиком свернуться на диване. И долго спать.

И сожалеть, проснувшись, что поезд через два часа.

И некогда идти на пруд.

— Ну во-от. Уже темно. А утки, а прогулка? — едва не плачу.

— Я покажу тебе скамеечку мечты. Скорее одевайся.

Мы успеваем...

Увидеть синий купол церкви.

И перекинутый в ночное небо мост — из нитей длинных белых облаков.

— Смотри, как будто радуга! Похоже?

— Да. Облачная радуга!

...И посидеть на той заветной маленькой скамейке. Загадывая тайные желания и чокаясь холодным «Черным русским».

— Все сбудется. Скамеечка-то волшебная.

Я улыбаюсь. Диковинное словно поджидает, чтобы мы с Димкой встретились, заметили его и сделали реальным.

Что не было — иллюзия, что было — времени гранит. Вот и скамеечка мечты — теплом наших сердец и задниц уверенно вписалась в историю московского двора. И морозящий дождик, падающий на лицо. И полчасика, которые сбывлись...

Вагон 13-й и место 23-е.

— Нижняя? Не может быть. У меня не бывает нижней!

— Иногда в чем-то и повезет, — соседка по купе подмигивает. Укладывает в сумку ролики.

Я пялюсь на коньки. Она смеется:

— По Москве на роликах — потрясно! Город в динамике, с горки на горку, по мосту у храма Христа Спасителя. По старым улочкам. Ты не представляешь Москву такой!

А я неторопливо размешивала сладкий чай с лимоном и видела свое. Как, усадив меня в такси, ты показал мне сложенное из двух рук сердечко.

И облачная радуга над церковью все не таяла...

# СУБЛИМАЦИЯ

**Н**аконец-то я поняла, зачем Винсент рисовал автопортреты. Зачем всматривался в свое лицо. Он хотел понять, почему его отвергали. Почему его не хотела Урсула, не принимала Кея.

Лицо человека, которого не любили женщины. Которому отказывали женщины. Которому делали больно.

Представляю, как он вглядывался в свои скулы, лоб, глаза, и одиночество переплывало в тотальное смирение. На грани бунта и безумия.

Когда ты не нужен никому, тебе становится нужен весь мир.

Когда тебя не любят, ты начинаешь любить все вокруг!

Стул с курительной трубкой, чертополох, ирисы, красные виноградники, широкие полосы пшеницы и подъемный мост с повозкой.

Винсент, если бы я смогла быть с тобой, ты написал бы «Розовых любовников» вместо «Портрета с отрезанным ухом». Хотя нет, мы слишком похожи, чтобы скрасить отверженность друг друга.

Не иначе как барство прет из меня — прохаживаюсь вокруг дома с кружкой чая,

прихлебываю. Будоражит вкус мартовского влажного воздуха. Если сунуть нос в пустой бокал из-под «Пиквика» — пахнет свежим арбузом. Люблю этот запах, люблю лысые подстриженные липы, зеленоватый свет окон детского санатория «Дружба».

У нас общая болезнь, Винсент. И, быть может, под конец жизни меня тоже ожидает дурка. И я, как ты, буду переносить свою нежность на цветущие деревья, травы. И пшеничные поля с черными птицами...

Сублимация... Неудачники создают автопортреты, на каждом из них — они лучше или хуже, чем в жизни — их никто не хочет.

Если тебя любят, зачем смотреть на свое лицо?

Зеркала счастливым ни к чему, как и часы. И холсты им не нужны. И глупости на бумаге. И созданный мир их вполне устраивает. А нас с Люськой не устраивает — и мы выплескиваемся красками: она масляными, я — словесными.

Я не помню, кто позвонил первый, наверное, одновре-

менно — ведь можно же одновременно позвонить друг другу на телефоны и заорать в одну секунду:

— Ну почему я его все время жалею?

Возможно, это прозвучало несколько иначе: «Ну почему я его все время желаю?»

Дальше мы с Люськой двинулись навстречу нашей встрече. Уже зная, что станет темой...

— Оль, у меня есть спирт.

Не помнишь, как разбавляют?

— Три к одному.

Люська открыла кран.

— Хорошо, что сразу не плюхнула, смотри, какая вода желтая.

Струя посветлела. А смешавшись в колбочке с водкой, стала мутная.

— Держи рюмочку. За нас с вами!

— И за черт с ними!

Мы сидели Люськой среди ее картин-сублимаций.

И пили за нас — против мужчин, которые нас не ценили и не стоили наших переживаний. Потом мы говорили о них, ругались на них, обвиняли их, презирали и мечтали о свободе.

Чтобы снова быть с ними.

г. Санкт-Петербург



Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2014 год

## ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

*Рисунки автора*

**М**оей главной опорой был муж-бык — так я звала его за мощную фигуру, плотные бугристые мышцы. И хотя в последнее время я все внимание переместила на сына, муж оставался моей крепостью, моей защитой. Я воспринимала его как свою собственность, как прочный фундамент из цемента. О-о-о! Как жестоко я ошиблась! Мужчины как звери: только мы теряем свою привлекательность — они находят других самок. Они не прощают того, что мы больше не вызываем желания. Ни дети, ни жалость — не в силах вернуть нам мужчин...

Мой простой, незамысловатый Коля, хватающий меня огромными лапами, щекотавший своей колючей, пропахшей бензином бородой... Как же так получилось?

Я так и не смогла разгадать главного языка любви мужа. Секс. Яркий, свободный, разнообразный. Для меня было достаточно заботы и опоры,

для него — нет. Существует много семей, много видов любви, которой мы, как ласточки слюной, скрепляем свои гнезда. Для многих это подарки, деньги, увлечения...

Со страшным запозданием, когда все было кончено, я получила свой женский урок: мужчины в своей сущности — почти как животные. Напрасно в тяжелый момент мы наивно ожидаем от них отцовского бескорыстия. Ворча и огрызаясь, они простят нам многое: пригоревший борщ, несвежую рубашку, грязную посуду. Они не простят лишь потери привлекательности, заволаживающей игривости, полного набора женских хитростей, избытка премудростей, начиная от ярко-кораллового лака на ногтях ног до бесстыдного разнообразия ласк и белья. Кто бы мне подсказал, я бы забыла обо всем на свете, упала перед мужем на колени в самый темный час, покорная и порочная, в одних шелковых

спущенных чулочках с кружевной подвязкой! Я убаюкала бы его ловкими руками, укачала бы своими бедрами, одурманила запахом весенней листвы! Как синицы ветви рябины, осыпала бы его алыми и сладкими поцелуями! Разве я хоть на минуту показалась бы перед ним тем, чем в тот момент являлась — черствым хлебом, покрытым плесенью? Как застоявшиеся тучи ждут ветра, так и мой муж-бык ждал моего преображения, моей ночной распущенности...

Что же я предприняла, чтобы он не свалился в воду и твердо шел по трапу на семейный остров?

Днем и ночью, как нескончаемую шерстяную нить, я мотала ему одни печали и тревоги, терпеливо выставив вперед руки. Коля смотрел на меня без привычного интереса, без обычной мужской живости... Я ничего не замечала, не делала даже попытки разбавить нашу пресную жизнь

чем-нибудь острым и шаловливым. Целыми кусками я пожирала сласти, свежие и сытные, пахнувшие ванилью... Не это ли наполняет силой после бессонных ночей? Я пухла, как ароматная булка в печи, не думая о последствиях, забыв, что по городу летают девушки хрупкого телосложения, с облаком волос, белые, желтые, легкие, как одуванчики.

В какой-то момент муж устал и резко оборвал нить.

Я увидела их вместе случайно и остолбенела: Коля уже не скрывался, они шли по улице, держась за руки. С каким восхищением он смотрел на ее искусно уложенные золотые волосы, на сверкающий ремешок, подчеркивающий тонкую талию, как внимал радостному и звонкому, будто жемчуг, ее голосу. Пальцами с длинными ярко-малиновыми ноготками она поправляла шелковые оборки платья, витые браслеты на обнаженных руках, невзначай, то и дело смеясь, мягко дотрагивалась до его плеча, щеки...

Они прошли мимо, никого не замечая вокруг, она — прошелестела юбкой, прозвенела голосом и браслетами, он — обдал меня знакомым запахом духов и сигарет — таким дорогим, таким родным.

Все во мне трепетало, когда я бежала домой, я хотела поскорей укрыться от ужаса, но он не отступил от меня и дома. Я лежала на кровати лицом вниз, будто обложенная похоронными венками, черными лентами. Новое несчастье сломило меня, я совершенно упала духом. Я все понимала, но была не в силах додумать до конца — что же мне делать дальше? Притворяться, что я ничего не видела? Притворяться, что я счастлива?

Гордиться нашей совместной с сыном игрой в казино?

Как бельмо на глазу, сидело в памяти это воспоминание и причиняло невыносимую муку. А я пыталась делать вид, что все хорошо...

Коля ушел не сразу. Он приходил и всем сердцем жалел меня, но в этой жалости уже не было ни капли любви. Он слушал меня внимательно и молча, опустив глаза, как нашкодивший пес. Но все в нем — носки туфель, обращенные на дверь, пальцы, перебирающие пуговицы пиджака, замаскированный зевок — все говорило о том, что целиком он там, далеко, в своей новой жизни, которая уже окропила его иссопом из греховных ночей, убелила благоуханием юности, сотворила заново, как радостную звезду.

— Коля, — шептала я, глядя в окно на то, как он уходил, быстро и вприпрыжку, размахивая руками, как мальчик, — что мне теперь делать, Коля?

Надо было вовремя подсуетиться и изловчиться, напрычься, как это могут ловкие и мудрые бабы, скрутить свои впалые груди так, чтобы выжать плач или визг, шквал звуков и рева, способного пробить сердце мужа. Удариться о землю и превратиться в птицу или ядреную вишню, подсыпать ему колдовского порошка, притвориться больной, беременной, безумной...

Ведь есть же оно, это человеческое счастье, как вам кажется?! Оно плотно замкнулось, свернулось, как время, как бутон заколдованного цветка, — нужно только всеми силами попытаться взять его силой, хитростью или заклинаниями!

В это время Коля обнаружил пропажу денег. Он

пришел в бешенство, когда узнал, что брала их я, и брала на игру! Он больше не чувствовал себя виноватым, бегая по комнате, он кричал и хрипел, будто был в агонии!

— Ты?! Ходила играть? Шлялась ночами, пока я гробился на работе, не зная ни покоя, ни отдыха! Четыре года не был в отпуске, не брал отгулов, не спал, крутил и крутил свою баранку!

Сын неожиданно встал на сторону отца.

— Ты виновата, — сказал он. — Ты должна была удерживать его, теперь у меня нет отца. У него родятся новые дети, и он никогда не вспомнит обо мне. Он обещал купить мне машину, если я брошу играть. И я больше не ходил бы туда, если бы имел все, что положено нормальному ребенку.

С уходом мужа я стала какой-то безликой, виноватой и приниженной — похожей на всех учительниц, ведь все мы в большинстве своем одиночки. Почему? Мы не замечаем, как работа превращает нас в непробиваемых зануд, у нас, учителей, самые преступные дети. Как так получилось, что я растратила все деньги? Ведь я брала немного, я видела — там еще много оставалось!

Где-то в глубине своего существа я съезжилась и стусеивалась, как хворая скотина, я предчувствовала наступление новых страданий. Может, я сама их притягивала? Не могла же я приказать жизни — прекрати! Дай мне возможность собраться с силами! В самой возможности этого приказания, или, вернее всего, просьбы, в ее слабом звуковом вихре я заранее угадывала ложь, отсутствие уверенности и фальшь. Поражения закрепляются в нашем под-



сознании — вслед за первым, будто камни с большой горы, посыпались другие. И как я могла противостоять этой лавине? Этим темным извилинам бездны, возникающим из мрака ночи, которые была не в силах осветить или распутать своим жалким разумом...

Несколько дней напряженной работы слегка отвлекли меня: в школе была очередная проверка. Учителя метались с пачками тетрадей, отчетов и планов. Это было очень кстати, и впервые я чуть ли не с радостью восприняла даже неумолимого и бессмертного, как Кощея, Павла Борисовича. Много лет он возглавлял комиссию из гороно, этот старый и бездушный человек, никогда не имевший жены и детей. Казалось, что он продолжает свое существование лишь за счет постоянных унижений бедных учителей. Впервые я увидела его лет двадцать назад в ладном черном костюме, с деревянной тросточкой, он стоял в дверях моего класса — я доверчиво пригласила его пройти, хотя урок шел уже минут двадцать, и это было полным нарушением этики. Но он прошел, уселся за дальнюю парту, через пять минут встал и стал ходить туда-сюда, нервно заглядывая в тетради первоклассникам. Простуженным голосом он несколько раз бестактно прервал мое объяснение новой темы, бесцеремонно высказав вслух просчеты в проведении урока. Я растерянно слушала, стоя с мелом в руках возле доски. Мне было девятнадцать лет, класс мне доверили всего три месяца назад, я училась заочно в пединституте. В те времена директоров школ поощряли, когда они выращивали кадры на месте...

Когда прозвенел звонок, Павел Борисович резким голосом потребовал план, бегло, со злорадной улыбкой проглядел его, торопливо засунул в свой кожаный портфель и ушел. В конце учебного года, на учительской конференции, проходящей в просторном Дворце культуры, с высокой трибуны он громогласно подверг меня яростной и беспощадной критике. Я чувствовала себя растоптанной, поломанной и вырванной с корнем. От меня остался только запах вялой травы. Обвинения были столь чудовищны и неправдоподобны, что вначале мне показалось, будто я ослышалась. Гневно сверкая очами, седой и горбоносый, он взмахивал рукой и на весь зал кричал о том, что есть такие молодые учителя (здесь он назвал мою фамилию), которые не только опаздывают на работу, но и являются в нетрезвом виде, ведут себя так разболтанно, что даже ученики отказываются ходить к ним на уроки. Это был такой бред, что даже сидящий рядом мой директор Валерий Михайлович повернулся и с ужасом посмотрел на меня. Меня спасло то, что безумный старик назвал фамилию еще одной «дурной» учительницы, которая уже два года как работала за границей. Да к тому эта речь была слишком запутанна и противоречива: чтобы первоклассники не ходили на уроки из-за «разболтанной и нетрезвой» учительницы — это было что-то! Что я ему сделала, чем не угодила?

Я написала записку о своем несогласии с докладом и выразила желание выступить с опровержением. Записку по залу быстро передали в президиум, внимательно пробежав ее глазами, председатель в просьбе отказал. Тогда

я встала, глотая слезы, неуклюже попыталась протиснуться к трибуне, между рядами было тесно, к тому же сильно мешал мой живот — я была на седьмом месяце беременности. Дыхание перехватывало, я хотела крикнуть с места, что это неправда, но не смогла выговорить ни слова и села. В тот раз я впервые не сумела отстаивать свою честь, растерялась, мне не хватило мужества. Этот поступок остался безнаказанным, я закрыла его в своей памяти, как закрывают и заколачивают окна зловещих домов...

Минутная слабость порой оборачивается твердым сценарием жизни...

После уроков в мой класс заглянула секретарь Леночка и, медленно растягивая глаза («Ве-ра Ни-ка-ла-вна!»), пригласила в кабинет директора. Она была похожа на лисичку: вытянутым вперед нежным личиком, оттопыренными прозрачными ушками, раскосыми ярко-зелеными глазами. Фарфоровые щеки и нос были густо усеяны веснушками — как же она была прелестна в этом оранжевом угаре юности! Она бы обязательно понравилась моему Алеше! Я улыбнулась. Не чувствуя беды, собрала тетради, отнесла журнал в учительскую и пошла к Валерию Михайловичу.

Он сидел за столом и перебирал бумаги, то и дело вытирая лицо платком. По тому, как он долго собирался с силами, по той особой напряженной сосредоточенности, которая пока смутно ощущалась, но с каждой минутой нарастала, я поняла: что-то произошло. Со смешанным чувством страха и робости я молча смотрела на него. Ему было уже за пятьдесят лет, но волосы сохранили волнистость и густоту,

а лицо — мягкую округлость. Черты лица его были невыразительны, рот бледен и сух, под маленькими карими глазами кожа болезненно и желтовато светилась. Наконец Валерий Михайлович решительно отодвинул в сторону папки:

— Уважаемая Вера Николаевна. Вы знаете, что нашу школу проверяют. А тут поступили сведения, что вы посещаете игровые заведения. Вас там видели неоднократно. Признаться, я не сразу поверил — вы проработали у нас столько лет, и ничего подобного за вами не наблюдалось. Давно не является тайной, что ваш сын пристрастился к игре, город у нас небольшой. Вы знаете, как мы неустанно боремся за дисциплину. И что получается? Теперь любой родитель ученика вправе спросить: на каком основании мы допускаем к работе таких учителей?

Я отчаянно, как могла, защищалась, путаясь в словах, объясняла, что ходила исключительно ради сына. Больше этого не никогда не повторится, честное слово. Что у меня оставалось кроме этой работы? Я готова была бороться за нее, как за самую жизнь. На лице директора была написана твердость уже принятого решения — это читалось во всей его позе, взгляде и речи. Я горячилась, убеждала, стараясь вызвать жалость, заплакала. И вдруг внезапно почувствовала, будто потеряла сумку с ключами и стою перед закрытой дверью. Все, что я лепетала в свое оправдание, было таким жалким, таким неубедительным. Неуверенным было все: моя поза на краю стула, заплетаящийся язык, подергивание пальцев, я даже как-то странно и неприятно попыталась

засмеяться. Директор видел и понимал, что я была в разладе сама с собой и ничего не могла с этим поделать. В тяжелый и ответственный момент я опять не сумела взять себя в руки, мобилизоваться, держать удар. Я вдруг целиком почувствовала себя во власти этой жизни, которая оказалась изощренной и могущественной. Слово старуха-нищенка, я согнулась под ударами ее взбесившейся палки и отступила перед ее силой. К концу беседы я чувствовала себя затравленным и напуганным животным, загнанным в угол.

*Я не была невинна, я сама накидала углей под свой кипящий котел — разве это не было правдой?*

К чести Валерия Михайловича, он не стал усугублять и без того тяжелый разговор. Своим вежливым и ясным молчанием он предоставил мне возможность самой выйти из этого затруднительного положения. Полная стыда, я написала заявление об уходе и тихо вышла из кабинета.

## ГЛАВА 6. ЭЛИТНАЯ ШКОЛА

Выглянуло и заблестело солнце, на моем подоконнике снова заворковали белые голуби: моя подруга, гадалка, нашла мне работу — в элитной школе. Попасть в нее было трудно, зарплата там была гораздо выше, чем в обычных. Как же я радовалась и целовала Марию! Она довольно улыбалась и рассказывала о необычном клиенте, который помог с работой. Это был отчаявшийся, но богатый человек; покорившись болезни, он ослабел и потерял надежду. Полный смерти и ужаса, щедедушный

и нежный, как барашек, он опустил перед ней голову, сплошь покрытую тугими и белыми, короткими завитками. Одинокую Марию потянуло к нему с необыкновенной живой и искренней силой. Он тронул ее жесткое и высокомерное сердце, своими ладными ноздрями она легко втянула его печаль и убаюкала на своей упругой осенней груди...

Школа была расположена в центре города. Просторное и современное здание, роскошно, комфортабельно оборудованное. Я вступила в него, как в храм. Мне предстояло заслужить это место, продвинуться, показаться, выбиться в люди. Последний месяц принес столько печалей, мой собственный дом опустел, я была без сил. Судьба словно следила за мной сурово, исподлобья: на что я гожусь?

Класс, в котором мне надлежало работать, утопал в цветах, они стояли повсюду — на подоконниках, высоких подставках... На первом собрании я встретилась с доброжелательными, хорошо одетыми родителями, они обстоятельно рассказали о своих детях. Прежняя учительница ушла в декретный отпуск, дети к ней привыкли, но быстро забыли и привязались ко мне. Они были любознательны и пытливы, бегло читали и грамотно писали. Неужели мои злключения окончились? Я поставила в церкви свечу и прислонил губами к рукам Божьей Матери... Умчались прочь ледяные туманы, ожили суставы, зажурчала кровь, я самозабвенно отдалась работе, обвилась вокруг нее, как плющ вокруг дерева. Быстрым потоком понесли дни...

Умер Алешин дедушка, отец моего мужа. Всем на удивле-

ние, он завещал свой маленький домик, расположенный недалеко от города, не своему единственному сыну Коле, а внуку Алеше, которого очень любил. Со своим свекром я виделась редко и потому внезапную смерть его восприняла спокойно. Я благоразумно решила, что дом надо продать и купить Алеше машину. Тот был вне себя от радости.

Новый директор, Сергей Степанович, предложил мне вести рисование в старших классах, я согласилась. Какой же он был молодой и светловолосый! Когда он мне улыбнулся, на полных румяных щеках показались ямочки. На коротком совещании директор напомнил, что родители наших детей — люди влиятельные и серьезные, ни о каких двойках, записях в дневниках или других придириках не может быть и речи. Он еще раз уточнил и даже назвал отдельные фамилии: кто ремонтирует эту школу, спонсирует различные вечера и мероприятия. Я услышала знакомое имя — Василий Седов. Не он ли был владелец всех казино и игровых автоматов?

Это был мой первый урок в восьмом «Б». Я стояла перед зеркалом в учительской и придиричиво себя рассматривала: серый костюм с крупным рисунком белых магнолий, светлые лакированные туфли, высоко уложенные и завитые волосы. И еще я благоухала, как белая акация. Внутри меня играла бодрая и радостная музыка, все-таки это вальс, думала я, поднимаясь по лестнице. В руках у меня была целая папка иллюстраций, мне предстояло познакомить учеников с творчеством художника Айвазовского. Блестящая заколка, которая придержи-

вала локоны, опасно подпрыгивала и была готова слететь с головы. Я вошла в класс. Ученики встали и недружно поздоровались. Знакомясь с ними, я называла по журналу фамилию, кто-то нехотя вставал, кто-то поднимал руку, три девочки звонко выкрикнули «я!». Паша Седов оказался невысоким кучерявым подростком, издали его вполне можно было принять за девчонку. Неужели его отец — тот самый Василий Седов, о котором мне рассказывал Алеша?

Я почувствовала робость, она проскользнула в моей душе, как быстрая тень мелкой рыбки. Первое впечатление — самое главное, от него будут зависеть мои взаимоотношения с классом.

По всем правилам я старательно вела урок, показывая на большом куске ватмана, прикрепленном к доске кнопками, как художник рисовал море. Я макала кисть в расставленные на столе краски и клала их на бумагу: синюю, фиолетовую и белую... Перемешиваясь, они текли вниз: я не обмакнула как следует кисти. Я заволновалась и незаметно взглянула на часы — прошло всего десять минут: никогда еще время не тянулось так долго.

— Теперь вы можете нарисовать свое море, — бодрым голосом сказала я и включила магнитофонную запись с шумом волн, наложенным на музыку.

— А я не хочу рисовать море, — вдруг громко произнес кто-то сидящий на задней парте.

— И я, — поддакнул ему другой, тихий и ехидный голосок.

— Как это так? — удивилась я. — У нас урок рисования, а вы не будете?

— Я не обязан рисовать то, что мне не нравится, — настаивал парень, сидящий на задней парте.

Теперь я его разглядела: он был одет в желтую рубашку и джинсы. Лицо его показалось мне знакомым. Где же я его видела?

Стараясь выглядеть непринужденной, я улыбнулась и развела руками. Многие открыли альбомы, взяли кисти, стали рисовать. Исподтишка я оглядывала класс: ребята на задних партах приглушенно разговаривали, никто из них так и не притронулся к альбому. До конца урока оставалось двадцать пять минут. За окнами вдруг потемнело, ветер ударил в стекла раз, другой, потом жестко плеснул водой. Я повернулась к доске и аккуратно вытерла потоки краски, которые упрямо стекали по доске на пол. Айвазовский рисовал маслом, а я — гуашью. Оторвалась одна кнопка, на которой крепился ватман, тяжелый от краски, угол листа угрожающе провис. За спиной кто-то громко квакнул, раздался смех.

— В чем дело? — строгим голосом спросила я.

После нескольких секунд тишины вновь раздался звук — теперь уже чуть ли не полкласса квакало и мяукало. Признаться, я растерялась: строгое предупреждение директора о том, что к ученикам надо относиться трепетно, сбивало меня с толку. Я старалась держаться, чтобы не показывать, как я волнуюсь. Все мои миролюбивые попытки навести порядок не имели успеха. Время от времени я продолжала взглядывать на часы — может быть, они остановились? Этому уроку не видно было конца. Проще простого выгнать из

класса, записать в дневник, заорать, наконец, но я словно онемела. Что я могла сделать? Двух самых заядлых хулиганов я пригрозила оставить после звонка — этот урок был последним. Не успела я закончить свою строгую речь, как вдруг в тех, к кому она была обращена, узнала двух подростков, которых видела в игровом зале. Один — бесстрастный остроносый паренек, у которого были деньги, второй — тот, кто в ослеплении чувств объявил войну Небу. А они вспомнили меня? Я была словно мечена игрой — на лбу моем светилась зловещая печать ее проклятия. Я втянула голову в плечи, мне хотелось съежиться и исчезнуть. И в этот момент с моей головы свалилась заколка и со стуком упала на пол. Это было так глупо и смешно, я вновь почувствовала себя жертвой злобной судьбы. Как паучиха в паутине, она всюду расставила силки: они свисали с неба и плелись на земле. Я никогда не найду места, куда бы она ни протянула свои цепляющие нити.

И тут произошло то, чего я никак ни ожидала: слезы хлынули из моих глаз, неустойчивые потоки теплой соленой воды. Каждая слеза гремела, как кнопка автомата, и сотрясала класс грозным подземным гулом. Наступила долгожданная тишина. Но она мне больше была не нужна. Ни в одной школе мне не удавалось достичь тишины. Сжав руки в кулаки, я безвольно сидела у окна. Странная, немыслимая ситуация — тушь с ресниц заливала глаза, соленая резь была невыносима, носового платка у меня не оказалось. Тут я вспомнила, как, наращивая ресницы, долго и усердно их красила,

и вообразила, какое сейчас у меня лицо. Разумеется, меня выгонят из этой школы, и, скорее всего, это случится сегодня же или завтра. Терять мне было нечего. Я прихватила рукой штору, ослепительно белую и дорогую, и тщательно вытерла свое лицо, потом тихо, но старательно высморкалась. Вытираться плотным шелком было не совсем удобно, он плохо впитывал влагу. Но я вытерла им руки, которые были в синей краске. Действий я произвела много, и все они были безумно-прилежными, на класс я больше не смотрела: ни прямо, ни исподтишка. Сидела, укрытая шторой, всхлипывала, ею же и вытиралась, выбирая места, которых еще не касались мои глаза и щеки. Благоразумный выход — выйти из класса — почему-то не приходил в голову, показаться зареванной перед коллегами было страшнее, чем оставаться здесь, под шелковым шалашиком, с безмолвными детьми. Я уже понимала, что звонок не раздастся никогда, а что происходило с мыслями! Они, словно кони, столпились на крутом берегу и глядели в глубокую воду — что делать?

Неожиданно кто-то встал из-за парты и быстро зашагал к доске, но, кажется, он шел ко мне. В глазах щипало, да к тому же они распухли и превратились в две щелочки, попробуй разгляди — кто идет?

— Вера Николаевна, — услышала я тихий голос, — возьмите, пожалуйста.

Я неуверенно отодвинула складки занавеси: передо мной стоял Паша Седов и бесхитростно, с каким-то детским простодушием протягивал носовой платок, коричневый, в белую клетку, красивый и накрахмаленный, шуршащий

свежестью. Я взяла его в руки и стала рассматривать, ничего не поняла и тихо переспросила: «Зачем?» Паша невольно покосился на штору и тут же опустил глаза — она была грязная, в черных разводах.

Внезапно раздался громкий звонок — будто железа коснулась пила. Он выли и скрежетал, не принося никакой радости, только болезненно дребезжали барабанные перепонки и стонала голова.

— Вера Николаевна, — сказал Паша, и уголки его губ дрогнули, — больше такого не повторится. Вы мне верите?

Я кивнула головой и отвернулась. Что я могла ему сказать? Да к тому же это было опасно — любое слово, которое я попыталась бы произнести, могло вызвать новый приступ слез. Стоящий совсем близко, так, чтобы меня из коридора не было видно, Паша Седов казался старше и строже, худощавая фигура его напряглась, будто он старался что-то перебороть в себе. А ведь ему было всего четырнадцать-пятнадцать лет! Он терпеливо стоял, а я горестно сидела — и странное дело, это молчание меня не угнетало.

Класс опустел. Ушел и Паша Седов, и те двое, кого я оставила после уроков...

Я осталась одна, не решаясь выйти с опухшим лицом. Школьный коридор был тих и безлюден, тянуло сырým воздухом, словно по нему проехала поливальная машина.

На следующий день меня вызвал директор. Полная нехороших предчувствий, я вошла в кабинет. Лицо Сергея Степановича не предвещало ничего приятного: он не улыбался, глаза его были ледяными, чистое лицо лоснилось.

— Вера Николаевна, расскажите, что произошло на последнем уроке в восьмом «Б» классе?

Надо собраться с мыслями, напрячь их, как никогда. С чего начать? Как я разревелась? Или как сорвали урок наглые подростки, которых я была не вправе осадить?

Но директор не стал ждать, он протянул мне лист бумаги. Я вопросительно взглянула на Сергея Степановича. Сказать, что он был разъярен — значит ничего не сказать.

— Вера Николаевна, — дрожащим от гнева голосом, поддериывая щеками, тихо и зловеще начал говорить он, — не далее как на прошлой неделе вы присутствовали на собрании, где я ясно и четко изложил условия нашей работы. И что... вы с ума сошли? Приставать к ученикам, подросткам? Да это... на весь город, что вы такое себе позволяете? Ведь это подсудное дело — оно так просто не сойдет с рук! Проработать без году неделю и ославить нашу школу на весь город — это неслыханно!

Я не верила своим ушам. Что я могла натворить такого, чтобы ославить школу? Расплакалась? Я взяла лист бумаги и быстро пробежала по нему глазами. Молча ожидая, пока я дойду до конца, директор, беспокойно оглядываясь по сторонам, встал, опустил на окно занавеску, снял пиджак, ослабил петлю галстука и вытер носовым платком пот со лба. Я читала, и глаза мои расширились...

Это был конец всему: два ученика восьмого «Б» (внизу стояли их отчетливые подписи) уверяли, что учитель рисования, Вера Николаевна, оставила их после уроков,

закрывает дверь на ключ и «сексуально их домогалась»!

У меня вырвалось грубоватое слово, идиоматическое выражение, выходящее за рамки литературного языка. Это было какое-то отвратительное безумие! Слово нарочно, в дверь, не стучась, то и дело назойливо заглядывали учителя.

— Сергей Степанович, я понимаю, все в вашей власти, но это просто недоразумение, это полный бред. Неужели вы не понимаете, что глупые мальчишки самым бессовестным образом решили посмеяться? Я оставила их после уроков, это правда, но они ушли домой вместе со всеми учениками, это сможет подтвердить каждый, уверяю вас!

По простоте душевной я рассказала ему все подробности. Директор слушал меня, подняв брови. Я защищалась отчаянно, мне казалось, прошли целые сутки с того времени, как я ознакомилась с этим мерзким доносом. Нужно было отдохнуть, собраться с силами... Но понадобятся ли они мне когда-нибудь?

Мне помог Пашка Седов. Он один из всего класса перечеркнул все обвинения и обстоятельно доказал мою правоту. Сколько раз его ни приглашали в кабинет директора, он четко и ясно повторял, что Никита Свиридов и Дима Петров сорвали урок рисования и к тому же на спор в пятьсот рублей полностью оболгали учителя. В конце концов вмешался его отец, недовольный тем, что сына затаскали как свидетеля. Явившись в школу, он без стука ворвался к Сергею Степановичу, захватив его врасплох и орал так, что на втором этаже дребезжали стекла, распахнулись все двери классов. Из его бешеной речи

ясно следовало: если директор не разберется со своими «обнаглевшими учениками», то он немедленно сменит все руководство школы. В коридоре толпились ученики и учителя, никто не решался начать урок, не звенел даже звонок...

— Как твое имя?! — время от времени выкрикивал Василий Седов, перебивая едва слышные оправдания Сергея Степановича, и нетерпеливо стучал по лакированному столу ладонью.

Невысокого роста, полный и лысоватый, он ловко и свободно передвигался по кабинету, успевая поддерживать устрашающую связь с директором и короткими пухлыми пальцами брезгливо ворошить и бегло просматривать документы, лежащие на столе. Модная джинсовая рубашка на его розовой груди распахнулась, из кармана широких вельветовых брюк он достал сверкнувший золотом портсигар, неторопливо раскурил дорогую сигару, отдавая при этом директору какие-то распоряжения.

Дверь кабинета была открыта, и, разумеется, всем толпящимся в коридоре было отлично видно все происходящее. Выдержал ли Сергей Степанович это злополучное испытание или нет, но чувству его власти, несомненно, был нанесен большой урон. С его лица надолго исчезло выражение самоуверенности и даже беззаботности. Историю стремительно замяли, будто ничего и не было...

Судьба странным образом столкнула меня с этим всемогущим человеком, владельцем игровых автоматов. Он практически спас меня, отстояв мою честь и достоинство. С шеи моей, как с букета цветов, срезали



тугую ленту, мне стало легко и просторно дышать. Только в эту минуту я поняла, какая опасность миновала меня.

Я была уверена, что лишусь дополнительных часов в старших классах. Но часы мне оставили: это были ощутимые результаты заступничества. Не признаваясь себе самой, я почти испытывала счастье. Полному счастью мешало болезненное напряжение, от которого я все же была не в силах окончательно отделаться. На уроках было тихо: Паша Седов держал свое слово. Мои недавние обидчики сидели, уткнувшись в альбомы, и мирно скрипели карандашами. Иногда Паша провожал меня до остановки. Слегка размахивая портфелем, он болтал без умолку и казался простодушным и легкомысленным, но я прекрасно знала,

что он был тайным лидером. Часто и с гордостью он рассказывал про отца, но выглядел при этом странно, будто сиротел с каждым словом. Учебный год заканчивался...

Во время всех этих неприятностей мой сын самостоятельно выбрал себе машину, уже договорился в магазине. В день покупки я до позднего вечера вела уроки, к тому же после занятий было назначено совещание. Алеша еще утром взял деньги и уехал. Мы договорились, что он приедет за мной на новой машине, я даже не знала — на какой, это был сюрприз.

Но он не приехал. Дома его тоже не оказалось. В автосалоне сказали, что он не появлялся. Сердце мое гулко забилося, я бросилась в игровой зал. Работники сказали, что Алеша был, проиграл крупную

сумму денег и ушел. Я металась по городу, кружилась по темным и освещенным местам, не замечая дорог, машин, сшибая с ног людей. Где-то визжали тормоза, я кидалась в сторону звука, машины едва успевали увернуться, одну сильно крутануло, выбежал водитель с побелевшим лицом, я схватила его за руки, о чем-то громко молила...

Запоздалые прохожие, дико оглядываясь, бежали от меня прочь. Только бы он был жив! Я бегала по стройкам, прыгала в ямы, карабкалась по кирпичам, металась от подвала к подвалу, ползла от чердака к чердаку. Боялась смотреть на крыши домов, представляя окровавленное тело сына, распластанное на асфальте. Я спешила и падала, натываясь на ящики и деревья. Привлеченные шумом, из

тряпья и старых газет, зевая, поднимались и тут же безвольно падали растрепанные седые головы. Я снова стояла в пустой квартире и ничего не соображала. Где Алеша? Что делать? Как сказать сыну, что я не буду его ругать? В какую щель он забьется? И сколько времени там пробудет?

Я пошла было снова на улицу, но вдруг остановилась, схватила с полки под зеркалом красную помаду, кинулась к окну и лихорадочно написала на нем огромными буквами: «Алеша, иди домой. Все хорошо».

Алеша вернулся через час. Он тихо вошел, взглянул на меня — я еле узнала родное лицо. Я еще стояла у окна с помадой в руках, мне казалось, я только закончила писать...

Наступала весна, мне неудержимо хотелось забыться. Мной вновь овладели страхи одиночества, потери работы, сына. Как они мучили меня! Они долбили мой мозг днем и ночью — началась страшная бессонница. По ночам я стала уходить из дома. Покупала бутылку водки, быстро выпивала, бродила по пустынным улицам, сидела на пустых лавочках, бездумно рвала одинокие листья, ездила в пустых автобусах, смотрела в пустые темные окна. Мне было легче в пустом городе. Так же одиноко и пусто было в моей душе. Странное дело: когда ранним утром автобусы наполнялись людьми, тоска по утерянной жизни, по моей семье становилась особенно нестерпимой, по лицу моему непрерывно лились слезы.

Помню одну ночь, и то неясно: впереди меня шла женщина, она показалась мне странно знакомой, и я впервые захотела кому-то пожаловаться, вылить свою беду.

Несмотря на то, что шла она медленно, я долго не могла ее догнать, а когда, запыхавшись, догнала и робко тронула за плечо, она резко обернулась... вы не поверите... это была я. Я в ужасе отшатнулась, я убежала прочь от этого равнодушного лица, обтянутого лилово-фиолетовой кожей, от пустых глазниц в красных полукружьях. О чем я тогда думала? Я ничего не помню. Ничего...

Один раз я рано вернулась домой — была полночь. Я вошла в комнату боком, двигаясь неровно, зашла на кухню. Там, откинувшись на спинку стула, сидел сын. Взглянув на меня, он немного подумал, а потом сказал: «На твоём месте я бы давно повесился...»

Какой злобой и жестокостью был наполнен его голос! Какой полной безучастностью веяло от его неподвижной фигуры! Резкие слова привели меня в полное замешательство, я ослепла от них и оглохла.

*Все, чему я отдавала свою душу, по частям убивало меня...*

Привязанности поработают нас, и мы утопаем в них, как больные животные. Сыну нужно было что-то другое — другая мать, бесстрашная, с настоящими когтями, вызывавшая у него восхищение или дикий страх. Но, теряя одно за другим, я сама переполнилась страхами, они сломали и умертвили мою душу. Равнодушные дни сменялись томительными ночами... Я быстро, без всякой видимой причины, обижалась, тоскливо донимала Алешу расспросами, испуганно следила за каждым его шагом, он злился и бежал от меня, как раньше. В моем характере произошли изменения: я стала мелочна и экономна, завела тетрадь, куда

скрупулезно записывала все свои расходы. Аккуратно, по линейке, чертила графы, высушив от усердия язык, сильно нажимая на карандаш, выводила цифры — это доставляло мне странную, злобную радость.

В зеркале отражалось мое угрюмое и загнанное лицо — оно потускнело, перечеркнутое морщинами и исковерканное следами всех печальных поражений и кошмарных ночей. Я вся разваливалась, как старое дерево под ударом молнии, быстро утомлялась и стала невероятно раздражительна...

Я истощила свои силы и больше на них не надеялась, я в них не верила. Так же внезапно, как и начались, прекратились наши совместные ночные походы — отныне я не являлась для сына талисманом. Бессмысленно было продолжать борьбу, она была обречена. Я больше ниоткуда не ждала поддержки...

Мария зазывала меня, но все ее гадания на кофейной гуще, обещания скорого счастья только раздражали меня. В последнее время она приловчилась к картам, стала кутаться в теплые шали из козьего пуха, купила себе старинное кресло с подлокотниками из черного дерева.

Как я ни обманывала себя, мой авторитет в новой школе был безнадежно испорчен. Надо мной повис грязный слух, за мной тянулся тяжелый след. Как звери и птицы, испытывая жажду, тянутся к реке, так и за мной брела возбужденная молва. Директор общался со мной жестко и сухо, он не простил мне своего унижения, учителя меня сторонились. Достаточно малейшего промаха, и я буду уволена, отдана на травлю, освистана и осмеяна...

Мой сын был опять надежно запечатан — демон выбрал для него самое опасное оружие, применил самый *лютый закон* — пленение. Я думала, что спасала и избавляла, на самом деле, помогая сыну набрать силу, которую он смиренно складывал к лапам с огромными когтями, я служила самому демону. Включившись в борьбу, я лишь усугубила положение, лишь присовокупила к этой дани свои жизненные ресурсы, лишилась мужа, работы. Потеряла пару ног, чтобы дойти до цели, потеряла крылья, чтобы взлететь и увидеть дорогу.

*Для этого демона я или ты — сущая безделица... комариный писк.*

Эта вековая незыблемость, бессмертная забава, и в ней заключена невиданная мощь — люди играли и будут играть, игра повсюду, куда ни кинь взор. Никто не задумывается, откуда она взялась, она более древняя, чем все думают, она была создана не первобытными людьми. Сами демоны вслепую метали на пустынную землю игральные кости, все дороги выстланы этими костями, их только слегка присыпал песок.

Эта черная дыра, ненасытная бездна, всасывающая в себя человеческий мусор и время... Настанет и твой черед, не срывайся с крючка, лучше зажмурь глаза. Как заботливая няня, она натянет башмачки и гольфики, замотает в кружевные накидки и шарфики — ты будешь жалким или великим, наступит твой звездный час или конец всему. Будет все, что ты захочешь, слуги рухнут на колени и протянут лакомые блюда — только яркие и жгучие извержения страсти. Не

будет лишь одного — повального восстания рабов! Ты не выйдешь Спартаком на арену борьбы, не сомнешь в кулаке этот *вечный капкан* — даже если за стенами рушится мир, города и храмы идут на дно...

Никогда еще не было так бездонно мое уныние. Я не понимала событий своей жизни, я была еще слишком связана с настоящим, слишком проникнута горечью поражения. Кто предначертал таким мой путь, кто привел его в исполнение? «Бог бросает с небес людей, будто семена земледельца, и забывает о них. Плоть его по ним не болит и душа его по ним не страдает. Кого он разрушит — того не построишь, кого заключит — тот не высвободится» — так, кажется, писали в Библии.

Если бы я понимала судьбу, видела смысл в ее непроглядной тьме, я перенесла бы это страдание, оно не казалось бы мне таким тягостным и бессмысленным. Что мне делать? Остаться рядом, падать и, стиснув зубы, снова подниматься — исход будет один. Ловить и приманивать сына, снова ходить с ним в казино, проигрывать последние копейки? Слепой помогает слепому! Да если этот путь был верным, то почему боги перекрыли его, подкинув мне столько лишений? А дальше? Что дальше? Спиваться, опускаясь на самое дно? Людская воля слишком слаба, она не в силах ослабить или изменить этот мир.

В бессилии своем я могла лишь до одури истязать себя или весь мир — школу, людей, государство. Слепая обида захлестывала и торжествовала, играя с отупевшими людьми, как с котятками, она то разбегалась, то взлетала, кружась над крышами домов...

Ничего, ничего нельзя было различить в этой снежной мгле дикой, необузданной стихии...

Я видела, что и сын чувствует безнадежность борьбы, бесплодность любых попыток вырваться.

*Что я могу сделать для тебя? А ты?*

*Мы можем только молча наблюдать, как погибает каждый...*

Меня неудержимо тянуло отправиться в путь. Мною овладело беспокойство, необъяснимая тоска — я хотела найти отца Владимира. Ведь смог же он вырваться! «Он стал священником, значит, он вырвался, — беззвучно шептала я себе, — я найду отца Владимира. Ведь он писал: "Если вы все же умудрились докатиться до такого положения вещей, что ваш сын или возлюбленный больше не воспринимает вас, вы понаделали слишком много ошибок и слишком все запустили, выход все же есть. Но об этом — в конце книги"».

«Когда родители не имеют влияния... когда все слишком запущено...» Иногда я повторяла эти слова быстро-быстро, без передышки, но чаще шептала про себя, безмолвно ходила по комнатам, безучастно сидела за столом, лежа без сна, глядела в потолок.

Листы определенно утеряны. Та женщина в церкви говорила, что рукопись «истрепали». Я не победила, но бывали моменты, когда я пробивала демону шкуру. Конечно, если таскаешь один и тот же костюм два года, он истреплется. А здесь — живой человек. Если бы не новые несчастья, я бы справилась. Я бы точно справилась...

И вдруг я поняла — это было как озарение, как вспышка молнии в оголенных обла-





ках — я должна принять свою судьбу. Она чего-то от меня хотела, куда-то настойчиво звала. Мне нельзя было терять ни минуты, мои волосы уже пахли ветром...

— Что? — хладнокровно спросил меня Алеша, глядя, как в полной безнадежности, изрядно постаревшая, я торопливо собираю в чемодан вещи.

Что я могла ему ответить? Связвить, что, наконец, решила поступить, как он мне советовал той ночью? Я не испытала бы радости от жестких слов — зачем? Безотрадность и безысходность нашей общей жизни с сыном была очевидна. Он меня не задерживал, не пытался выяснить, куда я отправляюсь на ночь глядя. Возможно, убедив себя отправиться в дорогу, я сама

себя обманывала. Я знала, что Алеша от меня уйдет, я чувствовала, что скоро потеряю работу, а ожидание одиночества, новых бед было уже невыносимо. Ведь в любой беде самое тяжелое — ожидание и бездействие, когда от тебя уже ничего, ничего не зависит. Моя тоска стала такой ощутимой, такой осязаемой, что в квартире душил сам воздух. Я страшилась того, что пройдет немного времени — и мы с сыном станем чужими людьми.

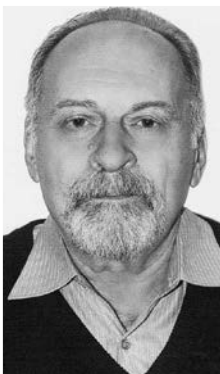
Когда я вышла на улицу, было совсем темно. Это неправда, что начинать новую жизнь весело и увлекательно. Кроме этой призрачной рукописи, разве у меня было что-либо? Мой путь не освещали звезды, он был

не драгоценным медом — я была разрушена. Куда идти? Относиться к жизни как к игре, которая когда-либо закончится, я не смогла. Услышать древний шепот святых... У них слишком пересохли губы. Как беременная женщина с умершим под сердцем плодом, я тяжело спускалась по лестнице вниз...

Ветер был по-весеннему холоден, шумели деревья. У самой дороги, положив голову на лапы, лежала собака. Увидев меня, она задрала морду к небу и мерзко завывала — таким криком убивают души детей. В темноте мерцали ее глаза — она была само безумие. Как я ни гнала ее прочь, она выла и выла — черная собака с белыми глазами...

Продолжение следует.

г. Липецк



**Валерий ИЛЬЧЕВ**

Окончание. Начало в № 3–12 за 2014 год

## **СТРАСТИ ПО ИЗУМРУДНОЙ БРОШИ**

### **ГЛАВА 5. ОПЕРАТИВНАЯ ИГРА**

С утра Носов заметил за собой слежку от самого дома: «Ничего удивительного. Обратни почувяли опасность и взяли меня под колпак. Судя по всему, начальник отдела внутренних дел Грошев в курсе их деятельности и находится у них на подкормке. Эта свора готова наброситься и разорвать любого, кто угрожает их благополучию. Они постараются сфабриковать против меня ложное обвинение и уничтожить собранные доказательства. Надо подстраховаться и срочно передать собранные материалы в главк. В первую очередь освобожусь от назойливого наблюдения».

Продумав план контригры, Носов ближе к обеду объявил подчиненным о предстоящей встрече с агентом. Выйдя на улицу, подогнал свою машину в автосервис. Попросил знакомого слесаря промыть карбюратор и выставить зажигание. Передав машину мастеру, намеренно забыл в ней мобильный телефон. «Теперь техническая слежка за моим передвижением исключена. Сейчас поеду в район своего детства. Там ничего не изменилось. Рядом с моей школой стоит ряд зданий, огражденных высоким железным забором. Там я знаю малозаметный лаз между широко расставленными прутьями. Протиснувшись через него, пробегу под аркой, попаду на оживленный проспект и легко потеряюсь. Должно получиться».

Носов сел в автобус, затем спустился в метро и проехал до нужной остановки. Сотрудники, ве-

дущие наблюдение, неотступно следовали за ним на расстоянии не более пятнадцати метров. Нарочито медленно двигаясь по знакомому с детства переулку, Носов неожиданно для преследователей свернул во двор, забежал за деревянное строение, на ходу скинул куртку и с трудом, вбрав на вдохе живот, протиснулся в узкое пространство между прутьями. Уже заворачивая в арку, оглянулся, злорадно заметив мечущихся возле забора «топтунов». Они не понимали, как мог объект наблюдения легко перемахнуть через высокий забор. Сыщику повезло. Он быстро поймал частника и попросил отвезти его в район трех вокзалов. Оторвавшись от наблюдения, Носов поспешил в ближайший супермаркет. Купив две флешки, арендовал в интернет-кафе компьютер и скопировал собранную в последние дни информацию. Затем направился на почту и, упаковав снятые копии в бандероль, отправил на свое имя до востребования. Теперь можно было возвращаться в отдел для продолжения задуманной им оперативной игры.

Зайдя в свой кабинет, Носов демонстративно, на глазах других сотрудников, положил флешку с компроматом в сейф. Тщательно размазав пластилин, оставил на нем четкий оттиск своей печати. Демонстрируя беспокойство, вернулся от самых дверей и проверил, надежно ли закрыт замок сейфа. Затем поспешил в кабинет начальника отдела

внутренних дел Грошева. Сразу без предисловий выпалил:

— Я располагаю материалами преступной деятельности майора Долотова и других сотрудников милиции. Они незаконно изымают импортные товары у бизнесменов и реализуют их через знакомых торгашей.

— Подожди огульно обвинять товарищей. О чем конкретно идет речь?

— Несколько дней назад Долотов в составе преступной группы изъясил фуру с мобильными телефонами и вчера весь день реализовывал по частям товар через торговую сеть. Наверняка еще не успел деньги потратить. Предлагаю проверить его сейф и провести обыск в доме.

— Ишь ты какой приткий! Для таких мероприятий нужны убедительные доказательства. Да и наличие у Долотова крупной суммы денег ничего не докажет. К тому же собранные материалы процессуально не оформлены. В результате твои обвинения наделают много шума, а результат будет нулевой. Нужно продолжить наблюдение за фигурантами. Где хранишь отснятые материалы?

— В сейф свой положил и опечатал. Место надежное.

— Ну и ладно. Можешь сегодня уйти домой пораньше. Заслужил отдых.

Выйдя из кабинета начальника, Носов подумал: «Теперь наверняка информация уплывет от Грошева к предателям и их благодетелям. Если я все рассчитал правильно, то они попадут в расставленную мною ловушку, а я получу свободу действий».

На следующее утро, зайдя в свой кабинет, Носов умело разыграл тревогу по поводу нарушения печати на своем сейфе. Обнаружив пропажу флешки, бросился в дежурную часть выяснять, кто брал запасной ключ от его сейфа. Не добившись от заспанного дежурного капитана никакого толка, направился в кабинет начальника отдела Грошева и доложил о пропаже флешки.

Начальник хитровато прищурился:

— Так может быть, Носов, и вообще никаких компрометирующих материалов не было? А ты мне ради карьеры о своих мнимых успехах докладывал!

— Нет, конечно. Вчера я лично ее в сейф положил и опечатал, как положено.

— Так куда же она испарилась?

— Не знаю. Запасной ключ лишь в дежурной части имеется. А капитан Седых утверждает, что никто ключ не брал.

— А что ты хотел услышать? Дежурный мог с вечера глаза залить и благодушно уснуть. У нас не дежурная часть, а проходной двор. Хорошо

еще, что железный шкаф с табельным оружием не вывезли. А ты руки не опускай. Начни заново собирать доказательства против Долотова. И пока лишнего шума не поднимай. Мигом всполошится служба собственной безопасности, начнет нервы мотать нашим сотрудникам. Согласен? Ну, тогда свободен.

Носов вышел из отдела и направился в автосервис. Он был доволен. «Я сумел усыпить их бдительность и могу приступить к завершающему этапу операции. Выкрыв у меня материалы, они успокоились и сняли наблюдение, развязав мне руки. Теперь я могу дать ход собранной информации. Будет забавно увидеть, как после предъявления полученных по почте копий перекосятся от злобы физиономия Грошева».

Сладостную картину реванша прервало появление в кабинете сотрудника МУРа Сотова. Его сопровождал высокий длинноволосый человек в помятом плаще. Сыщик из главка представил своего спутника:

— Знакомьтесь, это заведующий музеем, из которого месяц назад похитили икону «Скоропослушница» списках конца девятнадцатого века.

Музейщик взволнованно взмахнул руками:

— Представляете, мы эту икону недавно принесли из запасника. Хотели показать реставраторам: краска от сырости стала отставать. А икона эта весьма чтимая на Руси. По преданию, инок Нил проявил непочтение к образу Богородицы, закоптив ее чадом от свечи. В наказание ослеп, но прозрел духовно. Стал молить о прощении и тут же исцелился. А икону, по указанию Богородицы, нарекли «Скоропослушницей», ибо она обещала «являть милость и услышание скорое».

— Вы, Павел Степанович, им лекцию не читайте, а опишите лучше признаки похищенной иконы.

— «Скоропослушница» на Руси имеется во многих списках. Чаще всего изображается с младенцем. Но на похищенной у нас иконе Богоматерь одна. В нижнем правом углу краски поблекли и стерлись. А на обратной стороне доски со святым изображением был нанесен наш инвентарный номер.

Носов недоуменно пожал плечами:

— Все это очень интересно. Но от нас-то что требуется?

Сотов поспешно объяснил:

— Поступила ко мне информация, что схожую по признакам икону приобрел профессор-филолог Голубев, проживающий у вас на территории. А вот где он ее хранит и та ли эта икона, неизвестно. Но прямо его не спросишь. Уж поверьте мне: коллекционеры — люди не от мира сего. Они

как дети радуются новому приобретению и защищают свои собрания самозабвенно. Надо сначала убедиться, что он купил действительно похищенный из музея образ «Скоропослушницы» и хранит его у себя дома. Для этого я музейщика с собой и привел.

— А санкция на обыск есть?

— Да кто же мне ее даст на основании только негласно полученной информации?

— Прикажешь в обход закона в квартиру профессора ломиться?

— Нет, конечно. Потому и прошу найти выход из положения.

— А какой адрес у этого филолога?

Услышав ответ, Носов искренне обрадовался:

— Везет вам, земляки. Этот дом обслуживает наш старейший участковый Можаяев. Он там всех жильцов знает в лицо. Подожди, я позвоню ему на опорный пункт.

Трубку сняли сразу же после первого гудка.

— Слушай, Можаяев, это я, Носов. Тут надо оперу из МУРа помочь. Никуда не уходи. Сейчас мы подъедем.

Выслушав просьбу, участковый с явной гордостью произнес:

— Нет ничего более легкого. Я хорошо знаю домработницу профессора Ксению Петровну. Встали и пошли. Время терять нельзя. Профессор рано домой накануне выходных возвращается.

Носов одобрительно цокнул языком:

— Ну ты и везунчик, Сотов. Все складывается как по нотам. Давай иди с участковым и музейщиком в квартиру осматривать икону. А я останусь возле подъезда и предупрежу вас, если профессор появится. Как я понимаю, вы пока с ним встречаться не желаете. Слушай, Можаяев, как он хоть выглядит, этот любитель старины?

— Низкого роста, в очках и с тростью с головой собаки на ручке. Не обознаетесь.

Поднявшись на седьмой этаж, участковый позвонил в дверь:

— Ксения Петровна, это я, Можаяев. Открой дверь. Разговор есть.

Войдя в квартиру, капитан небрежно кивнул в сторону сопровождающих:

— Это со мной представители общественности. Профилактику проводим. В нашем районе участились ограбления квартир. Надо жильцам усилить бдительность. А у твоего хозяина, как я посмотрю, имеется что взять. Вон икон сколько!

— Да уж, ставить негде. Мне только работу лишнюю дает. Каждую неделю не успеваю пыль стирать. Да еще хозяин требует осторожности, чтобы, не дай бог, мягкое серебро окладов не погнулось.

Вперед выступил длинноволосый искусствовед:

— А можно я вот этот иконой полюбопытствую: уникальный образ.

— Возьми, погляди. Это профессор недавно в дом принес. Все не налюбуется.

Длинноволосый взял икону, дрожащими руками перевернул ее и, увидев плохо стертый музейный номер, утвердительно кивнул головой. Сотов с радостью осознал: «Удача! Это образ "Скоропослушницы", похищенный из музея. Жаль, что нельзя в отсутствие хозяина ее сразу изъять. Сначала надо получить санкцию на обыск и допросить профессора. Еще неизвестна его роль в этом деле. Может, вор на заказ работал».

Резко зазвонил мобильный телефон. Носов со двора предупредил:

— Профессор во дворе нарисовался. Уходите.

— А мы здесь уже закончили. Придержи его на пару минут.

Сыщик остановил Голубева у подъезда:

— Я сотрудник милиции. Предъявите ваши документы!

— А в чем дело? Я тут живу на седьмом этаже.

— Вы схожи по приметам с бежавшим основателем мошеннической финансовой пирамиды.

— Да вы что?! Я профессор, преподаю в прославленном учебном заведении. Вот мой пропуск в институт.

Заметив, как мимо проскользнули Сотов с музейщиком, Носов мельком заглянул в документ и милостиво отпустил профессора:

— Извините, обознался. Ваша трость ввела в заблуждение. Можете идти.

В этот момент из подъезда вышел участковый Можаяев, и Голубев обратился с жалобой к нему:

— Это черт знает что! Ваш коллега меня заподозрил. Если милиция будет хватать всех идущих по улице с тростью, то в стране тюрем не хватит!

— Не обижайтесь, профессор. Бдительность — наше оружие. Ради таких, как вы, честных граждан мы и стараемся. Я сейчас в вашу квартиру заходил. Предупредил Ксению, чтобы дверь никому не открывала. Не то лишитесь своей коллекции.

— Спасибо за заботу. Я давно собираюсь вторую железную дверь поставить. Жизнь ныне беспокойная: и жуликов боишься, и милиция у всех подряд документы проверяет.

По-стариковски ворча, профессор скрылся в подъезде.

Через два часа, получив санкцию на обыск, оперативные сотрудники изъяли похищенную из музея икону. Голубев сразу назвал перекупщика, постоянно поставляющего ему товар для коллекции. Носов и Сотов немедленно выехали к этому

купцу. Тот, избегая неприятностей, чистосердечно рассказал:

— Я в тот день перехватил мужика, подъехавшего на машине к антикварному комиссионному магазину. Он привез икону редкого списка. Я предложил ему сразу заплатить, а не ждать долго в «комке» деньги, выплачиваемые только после продажи. Он назвал приемлемую цену. Я для видимости немного поторговался и расплатился. Он уехал. Я позвонил профессору и сообщил о появлении редкой иконы. И все.

— Номер машины, конечно, не запомнил?

— Обижаешь, начальник. Я антиком не один год занимаюсь. Номер машины у меня в мобильном телефоне зафиксирован.

Перекупщик произнес вслух записанные цифры. И длинноволосый музейщик подскочил на стуле:

— Да это же автомобиль нашего научного сотрудника Грибина. Полгода всего работает. Сказал, что переходит на низкую зарплату для завершения работы над диссертацией. По вечерам, вопреки правилам, оставался изучать материалы в архивах. Как теперь нам в глаза смотреть будет, сволочь?

Радуюсь удаче, Сотов поднялся с места:

— Сейчас привезем воришку для очной ставки. Вот и заглянешь ему в очи.

Искусствовед бережно взял икону в руки.

— Не зря ее называют «Скоропослушница»! Вняла нашим просьбам и быстро нашлась.

Носов с сочувствием подумал: «Человек свято верит в помощь Всевышнего. Только быстро найти икону позволили агент Сотова и наши умелые действия. Но и удачные совпадения встречались постоянно в этом деле. Возможно, высшие силы действительно помогали нам».

И Носов охотно поверил, что успешное возвращение старой, почитаемой иконы зачтется ему еще на земле. Сыщик сейчас остро нуждался в удаче. На задержание музейного вора Носов уже не поехал. Надо было готовиться к решающей схватке с Долотовым и его подельниками.

Через два дня Носов, получив на почте копии материалов, появился в кабинете Грошева и сообщил:

— Вы посоветовали продолжить разработку Долотова. Но мне удалось восстановить видеоматериалы. С учетом прежнего неудачного опыта я позаботился сделать больше копий. И попытки их уничтожения обречены на провал. Хотите посмотреть?

— Не надо включать дурочку, полковник. Сам отлично понимаешь, что я знаком с их содержа-

нием. Буду с тобой откровенен. Ты не победил, а обрел бомбу, способную порвать тебя на куски. Поскольку дело касается важных персон, то вести с тобой переговоры я не уполномочен. Сейчас поедешь в главк объясняться с генералом. Тебя там уже ждут. Мой совет: будь благоразумен и торгуйся до определенных пределов. Иначе вместо пышки получишь синяки и шишки. Умный человек поймет, а глупцу любые советы не в пользу. Я сказал, ты, надеюсь, услышал. Все, иди.

Выйдя из кабинета начальника, Носов с досадой покрутил головой: «Грошев искренне считает, что я пытаюсь использовать материалы в личных целях. Ему и в голову не приходит, что я хочу очистить милицию от предателей и мздоимцев. А если он прав, и мне нечего играть в Дон Кихота, атакующего ветряные мельницы? Да и что я могу попросить у генерала в обмен на отказ от использования собранных материалов? Тьфу ты, чертовщина какая! Я уже, кажется, готов уступить, если предложат приемлемые условия. Да, слаб человек».

Так и не приняв окончательного решения, Носов приехал в главк. Седовласый генерал встретил его приветливо, словно знал уже много лет:

— Приветствую тебя, Николай Иванович! Спасибо, что, несмотря на занятость, нашел время приехать. Я ведь об оперской нагрузке знаю не понаслышке: сам в молодости гонялся за урками. Неблагодарная работа. Садись, располагайся. Я за свою долгую жизнь и в Средней Азии успел послужить. Многие из их местных обычаев имеют глубокий смысл. А потому, по вековой народной традиции, перед началом разговора выпьем по чашке чая. Это смягчит наши сердца, поможет установить доверие и прийти к мирному соглашению. Я всегда сам завариваю чай по старинному рецепту. А ты пока отдохни с дороги и не мешай мне священнодействовать.

Наблюдая, как генерал, скинув китель, готовится к чайной церемонии, Носов с тревогой подумал: «Мягко стелет начальство, да жестко будет спать. Раз уж человек такого ранга вызвал меня к себе, то дело гораздо серьезнее и касается не только майора Долотова. Но неужели генерал решится на предельно откровенный разговор?»

Но опытный милицейский чиновник предпочел говорить иносказательно. Осушив свой стакан, шумно выдохнул, словно выпил водки, и неторопливо начал:

— В детстве мне очень нравилась сказка о силе природных стихий. В ней тучи закрывали солнце, ветер разгонял тучи, а дождь побеждал засуху. Примечательно, что каждая стихия после временной победы начинала считать себя самой сильной.

Но ее всегда побеждало другое природное явление. И я еще мальчишкой понял, что стать выше других можно только на короткое время. Так и среди людей. Я знаю, сотрудники меня боятся, считают всемогущим и страшным в гневе. А ты спроси, есть ли кто выше меня, кого я сам боюсь расстроить? Да, конечно есть. И я не хочу из-за твоего излишнего рвения быть назначенным мальчишкой для битья. Да и ты сам наверняка не пожелаешь зачеркнуть три десятка лет своей безупречной службы. Ведь так? А времени на раздумья у тебя нет. Так что скажешь?

— Хорошо, я отдам вам все собранные мной материалы.

— Они мне без надобности. Я и так своими глазами вижу, что вокруг происходит. А потому обойдемся без излишней детализации. Сам знаешь, многие знания рождают печали. В ответ на твою лояльность серьезные люди готовы забыть мелкие неприятности, причиненные тобой. Останешься на своей должности.

— У меня есть еще одно условие: прекратите уголовное преследование моих оперов, проколовшихся при задержании мошенников.

— Я в курсе дела. Это легко решаемый вопрос. Сегодня же дам указание, и следователь официально прекратит производство по делу. Но и у важных персон есть особое условие: оставь в покое Долотова. Пусть опер продолжает спокойно работать на своем месте. Вы с ним, как в море корабли, должны идти параллельными курсами во избежание столкновения. Все, я рад, что мы друга поняли, аудиенция закончена.

После ухода Носова генерал набрал номер вертушки:

— Все в порядке. Дело улажено. Полковник в пенсионном возрасте и благоразумно хочет избежать неприятностей. Мы с ним обо всем договорились. Не стоит благодарности. Вы тоже для меня многое делаете, а я добро помню.

Отключив телефон, генерал с сочувствием подумал о Носове: «Этот сыщик выторговал себе и подчиненным свободу и возможность продолжить службу. Он еще не знает о принятом на самом верху решении реформировать милицию и очистить ее ряды. А кем они заменят взяточников и проходимцев, если все общество насквозь прогнило? И сама система безжалостно перемалывает порядочных людей и избавляется от них. И этого искателя правды Носова первым отправят в отставку. Зато оставят в милиции оборотней, несущих золотые яйца начальству. Печально. А может быть, мне самому подать рапорт и уйти на пенсию?!»

Генерал горько усмехнулся, отлично зная, что никогда добровольно не откажется от мундира, дающего ему стабильное материальное благополучие и власть.

А полковник Носов, покинув главк, чувствовал себя вываленным в грязь. «Всегда считал себя сильным и смелым. А сломался легко, без всякого сопротивления. И, честно говоря, не ради подчиненных сыщиков, а за свою личную судьбу испугался. И слабое самоутешение — не мы плохие, а времена ныне худые, — меня не оправдывает!»

Носов со злостью прибавил скорость: он знал, что никогда не простит себе проявленной слабости.

До начала реформ и создания в стране полиции оставалось менее четырех месяцев.



**Александр БРЮХАНОВ**

Добрый день, я, Александр Брюханов, родился в Санкт-Петербурге в 1956 году, где и живу. Образование высшее техническое, работаю менеджером, печатаюсь с 1984 года, сейчас — практически во всем, где печатают юмор...

## НОВОГОДНИЙ ТРАМВАЙ

**П**редновогодний снежок падал на лобовое стекло трамвая, и казалось, что он едет не по рельсам, а по белому полю.

— До Нового года полчаса. В парк? — спросил пожилой вагоновожатый закутанную в пуховый платок молоденькую кондукторшу. — Пассажиров немного.

— А что в парк? Дома одной, что ли, праздник праздновать? Ты-то как?

— А я вообще Новый год не праздную, поэтому меня в эту смену всегда и ставят.

— Тогда давай отпразднуем Новый год вместе, еще кружок прокатим, может быть, кому-то очень нужно...

Кондукторша оглядела салон. На последнем сиденье дремал мужчина с елкой, сидела парочка, прижавшись друг к другу, да на печке отогревалась старушка бомжеватого вида с огромными пакетами...

— Следующая остановка «Новоантварная», осторожно, двери закрываются... — Водитель оглянулся на салон трамвая. — Гляди, мужик спросонья выскочил, а елку-то оставил.

— Вот мы уже и с елкой. Остановка «Универсам», — сказала кондукторша.

В трамвай ввалилась семейная пара с ворохом фирменных универсамских сумок.

— Сколько времени? — спросила жена.

— Без двадцати, — ошалело оглядываясь, ответил муж.

— Опоздали, — выпуская со звоном авоськи, ахнула жена. — Но кто ж знал, что будут такие очереди...

— Давайте праздновать с нами, — сказала кондукторша, устанавливая елку между сиденьями и наряжая ее лентой билетного конфетти.

— Что ж делать, — вздохнула женщина, — придется праздновать здесь, — и начала доставать из сумок упаковки. — Мы тут салатиков купили, колбаски, и шампанское есть...

— Остановка «Общежитие философского техникума», — объявила проводница.

В вагон ввалился уже выпивший парень. Одной рукой он обнимал симпатичную девушку, другой гитару.

Находящиеся в трамвае встретили вошедших громким криком:

— Ура!!! Вот и музыка.

Парень, ничего не понимая, огляделся:

— Нам через две выходить...

— А мы нальем, — сказал муж, и парень тут же согласился, а через остановку уже и девушка выходит наотрез отказалась.

— А стаканчики, стаканчики? — вдруг вспомнила женщина из универсама.

От вскрика проснулась старушка бомжеватого вида, долго терла глаза, потом выругалась:

— Едрёна вошь, не думала, что попаду на праздник.

Она полезла в свой пакет, вытащила большую стопку пластмассовых стаканчиков, потом начала доставать старые вещи и дарить присутствующим, витиевато приговаривая:

— Это штопор, чтобы напоминать, что жизнь идет по спирали, а вам подставка под чайник, чтобы чайник всегда был горячий, а вам крышка от кастрюли, сама кастрюля со временем приложится...

— Без пяти двенадцать, приготовились, — по громкой связи объявил вагоновожатый, — остановка «Мэрия».

Вдруг на остановке «Парк культуры» в трамвай сел Дед Мороз — уже «на ходу», слегка разгоряченный и благостный. Он осмотрел салон и тут же, сориентировавшись, подошел к столу, провозгласил главный тост «С Новым годом! С Новым счастьем!» — и вытащил из мешка еще одну бутылку шампанского.

Потом кто-то еще входил и выходил из трамвая, но всем едущим было весело, они поздравляли друг друга. Пели под гитару «В лесу родилась елочка», водили хоровод и радовались, что попали в такую замечательную компанию.

Дороги не было видно под снегом, и казалось, трамвай сам по себе катит по снежному полю, весело позвякивая на стыках рельс.





*Предлагаю, на Ваш выбор, напечатать в журнале «Юность» любое мое произведение из имеющихся на <http://www.proza.ru/avtor/oegorovig>.*

*В 1991 году в издательстве «Удмуртия» тиражом пять тысяч экземпляров издана книга «Тайны городских кварталов» с моими произведениями: первые шесть глав романа «Восемнадцатилетний ученый», повесть «Тайны городских кварталов» и рассказ «Утро». Но с тех пор нигде ничего опубликовать не получалось.*

Гусев О. Е.

Галка ГАЛКИНА:

**Д**орогой Гусев О. Е.! С тех достопамятных пор, когда впервые была опубликована в издательстве «Удмуртия» Ваша книга, прошло ни больше ни меньше четырнадцать лет. То есть Вашему восемнадцатилетнему ученому теперь тридцать два года!

Издательство «Удмуртия» вроде живо и здорово, чего и Вам желает.

Мы заглянули на сайт издательства: «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!», «Грустит о чем-то песня», «Мусо удмурт кырзан».

Если перевести Вашу книгу на удмуртский, то и она спустя четырнадцать лет займет почетное место в дружной и веселой компании с песней и удмурт кыл, а может даже, и мусо кырзан.

Главное — не грустить!

Расправьте крылья, Гусев О. Е.!

Лучшее, конечно, впереди!

Мы еще споем!!!

Проказник\* ГЕО, человек-орел

**НУ, В ОБЩЕМ, КОРОЧЕ**

- ❖ Если санкции ввели, обналичивай рубли!
- ❖ Если нету пармезана, уходите в партизаны!
- ❖ Если кончился чак-чак, обращайтесь к Собчак!
- ❖ Если кончился бензин, закрывайте магазин!
- ❖ Если нету макарон, обращайтесь в ООН!
- ❖ Если вздорожала гречка, осторожнее с уздечкой!
- ❖ Если вздорожала манка, виноват упырь Обамка!
- ❖ Если вздорожало сало — это только лишь начало!
- ❖ Если санкций слишком много, на тот свет ведет дорога!
- ❖ Сами санкции введем — и узнают, что почем!



**Фаза месяца:**

**Хороводь!**

**НУ И О ГЛАВНОМ**

- \* Отдыхал вчера в нирване, на балконе, на диване!
- \* Встал я утром спозаранку, съел сушеную поганку!
- \* За обедом с неких пор ем сушеный мухомор!
- \* Вот ко мне забрался вор, укусил его Трезор!
- \* Вывел как-то я Трезора, что набрался кругозора!
- \* Ипполит Матвеич жил, был котом и не тужил!
- \* Я купил вчера подушку, завернул в нее ватрушку!
- \* А потом завел подружку, подарил подружке кружку!
- \* Позвонила в дверь соседка, что бывает очень редко!
- \* Ты, соседка, тля очкаста, не звони мне очень часто!

**PHOTOSTOP**

© Фото Игоря МИХАЙЛОВА



**SMS'ка, отправленная в починок:**

**Почему?**

\* Мужик-проказник работает и в праздник (народная мудрость).